

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ



1991



• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

1

1991

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ
1965 г.

МОСКВА
«НАУКА»

ДИСКУССИИ

- Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале второй мировой войны (сентябрь 1939 — август 1940 гг.) . . . 3
Проблемы культурного пограничья 28

СТАТЬИ

- Горизонтов Л. Е.* Польская история на Западе и в Советском Союзе: опыт сопоставительного историографического обзора 56
Венедиктов Г. К. Восемьдесят лет старейшине советских славистов 67

ПОРТРЕТЫ

- Топоров В. Н.* Николай Сергеевич Трубецкой — ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения). 78

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Иванова О. В.* Φ. Μαλιγκοῦδης. Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα 100
Гогина К. П., Чуркина И. В. T. Ivantušynová. Češi a Slováci v ideológii ruských slavianofilov 102
Тимова Л. Vznik českého profesionálního divadla 105
Загнитко А. А. I. P. Вихованець. Частина мови в семантико-граматичному аспекті 106

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Медведева О.* Конференция, посвященная Я. Корчаку 109
Мочалова В. Конференция «Поэтика паралитературных жанров» 110

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, А. А. ЗАЛИЗНЯК, М. С. КАПУБА,
В. П. КОЗЛОВ, М. Н. КУЗЬМИН, Г. Г. ЛИТАВРИН (зам. главного редактора),
Г. Ф. МАТВЕЕВ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, А. Ф. НОСКОВА,
Л. Н. СМЕРНОВ (зам. главного редактора), Л. А. СОФРОНОВА, Б. Н. ФЛОЯ

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*



ДИСКУССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (сентябрь 1939 — август 1940 г.)

Данный «круглый стол», подготовленный сектором Истории международных отношений Института славяноведения и балканистики АН СССР (ИСБ), был проведен в конце декабря 1989 г. и явился продолжением дискуссий историков и политологов, развернувшихся в ИСБ в феврале того же года (см. «Советское славяноведение», 1989, № 5). Хронологически он охватывает в основном период от начала второй мировой войны до переломного рубежа летом 1940 г., когда потерпела поражение Франция, и Гитлер отдал директиву о подготовке непосредственного плана нападения на СССР. Несмотря на дискуссионный характер, материалы «круглого стола» позволяют приблизиться к восстановлению цельной и взаимосвязанной картины тех политических процессов, которые происходили в Европе в тот период.

ВОЛКОВ В. К., д-р ист. наук, директор ИСБ

На нашем очередном «круглом столе» предполагается обсудить следующие основные вопросы: характер нейтралитета стран Юго-Восточной Европы в начальный период войны; реакция стран Центральной и Юго-Восточной Европы (ЦЮВЕ) на захват Польши; договоры СССР с Прибалтийскими государствами осенью 1939 г. и страны ЦЮВЕ; англо-франко-турецкий договор (октябрь 1939 г.) и страны ЦЮВЕ; планы создания балканского «блока нейтралов»; советско-финляндская война и реакция на нее в странах ЦЮВЕ; разгром Франции и страны ЦЮВЕ; начало германо-итальянских переговоров о «новом порядке» в Европе и внешнеполитические дилеммы стран ЦЮВЕ; включение Прибалтийских стран в состав СССР и страны ЦЮВЕ; новые черты советской политики на Балканах (весна — лето 1940 г.); установление отношений с Югославией; присоединение Бессарабии и Северной Буковины; новые тенденции в расстановке сил на международной арене и проблемы стран ЦЮВЕ на рубеже лета — осени 1940 г.

Страны ЦЮВЕ играли гораздо большую роль в мировой политике, чем это пока отражено в исторической литературе. Историография США, Англии, Германии, СССР сосредоточилась в основном на проблемах отношений между этими государствами; малые страны оказались на втором плане. В реальной же политической жизни положение было несколько иным.

На Балканах же традиционно ситуация была чрезвычайно сложной, поскольку в этом регионе сталкивались интересы всех великих держав, к тому же сильные были и противоречия между самими странами этого региона. Наложение этих двух рядов противоречий еще более осложняло положение. К моменту развязывания второй мировой войны на Балканах существовало несколько «горячих точек». Во-первых, это Болгария, опасавшаяся возможного нападения турецких войск, сосредоточенных на границе. По крайней мере, болгары расценивали этот факт как мощ-

ное давление со стороны англо-французской коалиции. Во-вторых, были крайне обострены румыно-венгерские отношения, и в Румынии ожидали нападения. В-третьих, напряженность царила в Югославии, где 26 августа 1939 г. образовалось новое правительство. Общая ситуация на Балканах усугублялась частичной мобилизацией армий, проведенной в Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии.

Занятие Балканскими странами в начале войны нейтральной позиции также сопровождалось известными особенностями. Наибольшее внимание тут привлекали те страны, которые получили гарантии западных держав — Румыния и Греция. Иной характер носил нейтралитет стран, которые таких гарантий не получили — Югославии и Болгарии. Особого внимания заслуживает характер нейтралитета Турции: в тот момент (в канун второй мировой войны и в сентябре 1939 г.) советская дипломатия подтвердила готовность заключить двусторонний советско-турецкий оборонительный договор, что было продолжением идеи так называемого Черноморского пакта.

Необходимо отметить отличительную черту международных отношений после начала мировой войны: резкое возрастание влияния Советского Союза во всем регионе Юго-Восточной Европы. Произошло то, о чем в западной литературе говорится как о возрождении былой роли России на Балканах.

Советско-германский пакт от 23 августа 1939 г. имел неоднозначные последствия для различных секторов мировой политики. Для северо-восточной части Центральной Европы (Польша, Прибалтика) это было фактическое разграничение сфер влияния, сопровождавшееся последующим советско-германским взаимодействием по осуществлению этих договоренностей. Для Балкан, оставшихся вне сферы военных действий, пакт имел другой смысл. Существовал и третий фактор: изменения в отношениях между потенциальными участниками агрессивного блока, в треугольнике Германия — Италия — Япония. Последняя восприняла советско-германский пакт как предательство своих интересов и на длительный период (практически до осени 1940 г.) заморозила отношения с Германией. Большие колебания испытала во внешней политике и Италия. Одним словом, осложнения в отношениях среди потенциальных участников агрессивной коалиции можно отнести к тем немногим позитивам, которые имел пакт. И это обстоятельство почувствовали на себе именно Балканские страны.

Наконец, проблемы, которые встали перед странами ЦЮВЕ в результате военного поражения Польши. СССР в первых числах сентября занимал выжидательную позицию и выбирал благоприятное для себя время с тем, чтобы снизить негативные последствия ввода советских войск на территории Западной Белоруссии и Западной Украины. Только после того, как было получено известие о том, что польское правительство и Генеральный штаб покинули территорию страны (потом выяснилось, что это были неточные сведения), 17 сентября советские войска перешли линию советско-польской границы. Отношение Балканских стран к этой «польской кампании» было сложным и сдержанным. В общем они смотрели на события в Польше и на все, что связано с этой группой проблем, глазами английской дипломатии (1 октября У. Черчилль заявил, что в продвижении советской армии на Запад имеется и позитивный момент).

Вообще весь период «странной войны» можно разделить на несколько подпериодов. Первый — сентябрь-ноябрь 1939 г. — до начала советско-финляндской войны. Второй — три с половиной месяца (до середины марта 1940 г.) советско-финляндской войны. Третий — апрель-июнь 1940 г., т. е. от окончания советско-финляндской войны до начала германских действий на Западе (сначала против Дании и Норвегии и вплоть до капитуляции Франции, ставшей одной из величайших цезур в истории второй мировой войны).

С началом войны на Балканах возник ряд проблем. Среди них — характер нейтралитета Балканских стран, попытки создания балканского «блока нейтралов», предпринимаемые с нескольких сторон, но инициа-

тором была все-таки английская дипломатия. Форип-оффис разработал целую серию мер, направленных на то, чтобы с помощью балканской политики и привлечения сюда внимания итальянской дипломатии как-то нарушить отношения между Италией и Германией. Реально переговоры о балканском «блоке нейтралов» начались к концу сентября и шли весь октябрь. На рубеже октября-ноября конкретным инициатором его создания выступила румынская дипломатия. Эта проблема долго обсуждалась и приобрела новую окраску после начала советско-финляндской войны. Только в начале 1940 г. стало очевидно, что это очередная мертворожденная дипломатическая идея.

Наконец, крупная проблема — отношение Советского Союза к англо-франко-турецкому договору, подписанному 19 октября 1939 г. Имеется ряд документов Балканских стран (а не только германских и английских), говорящих о том, что СССР проводил в этом вопросе своеобразную и не совсем для того времени обычную тактику. По приезду Сарадж-оглу в Москву в конце сентября — начале октября были продолжены переговоры об оборонном соглашении между СССР и Турцией, выдвинуты предложения о пересмотре режима проливов. Несколько ранее, в середине сентября, была высказана идея (и сообщена дипломатии Балканских стран) о заключении договора о дружбе и взаимной помощи СССР и Болгарии, что связывалось с возможным советско-турецким соглашением в духе идей Черноморского пакта. Хотя переговоры с Турцией не принесли результатов, любопытна характерная деталь: СССР дал согласие на заключение англо-франко-турецкого договора. При этом было совершенно ясно, что Турция шла на сотрудничество с западными державами, и это мало совмещалось с теми последствиями, которые, казалось, должен был иметь советско-германский пакт.

Что касается отношений стран Дунайского региона и Балканского полуострова к заключению группы договоров СССР с Прибалтийскими государствами, то эта проблема не вызвала на Балканах сколько-нибудь большого интереса. Они рассматривались как мероприятия в рамках политики защитных мер со стороны СССР, т. е. с точки зрения военно-стратегических выкладок. Однако советско-финляндский конфликт качественно изменил оценку внешней политики СССР, замедлил тенденцию к сближению СССР с рядом Балканских стран, в первую очередь с Югославией. Любопытна позиция Балканских стран в период обсуждения жалобы Финляндии в Совете Лиги Наций. Ни одна из них не приняла участия в голосовании по поводу исклучения СССР из Лиги. Воздержались при голосовании Китай и Турция. Помимо Франции и Англии, «за» голосовали Египет, Доминиканская республика, Боливия и другие — всего семь стран. Даже Финляндия воздержалась от голосования во время обсуждения собственной жалобы. Профессор Сорбоннского университета Гиболи в своем докладе на симпозиуме в Париже в начале октября 1989 г. назвал решение 14 декабря 1939 г. уникальным случаем в истории Лиги, «сюрреалистическим эпизодом», когда агонизировавшая Лига Наций решила на какой-то демарш. Психологическое влияние этих событий, как считает Гиболи, было далеко идущим — обострение отношений между западными державами и СССР. И эта акция потом еще долго, вплоть до Ялтинской конференции, вспоминалась советской дипломатией.

Совершенно неожиданный элемент во внешнеполитическое и стратегическое планирование великих и особенно малых держав внесло быстрое поражение Франции, низведение ее до положения оккупированной страны. Это явилось шоком для многих Балканских стран, особенно таких, как Югославия, Румыния, Турция, Греция.

СМИРНОВА Н. Д., д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (Ин-т всеобщей истории АН СССР)

В воспоминаниях советского дипломата Н. В. Новикова дана иная, нежели у Вас, концепция англо-франко-турецкого договора.

ВОЛКОВ В. К. Некоторые положения в мемуарах расходятся с теми выкладками, которые тот же Новиков давал в документах НКВД. Турецкие источники свидетельствуют, что этот договор был подписан без возражений со стороны Советского Союза. Следует учитывать, что этот случай прямо подпадал под условия советско-турецкого договора 1925 г. (там было четко сказано о необходимости консультаций и получения согласия). И этот факт говорит сам за себя.

ГИБИАНСКИЙ Л. Я., зав. сектором (ИСБ)

Но есть еще и другое обстоятельство, которое требует объяснения. Ведь на V Внеочередной сессии Верховного Совета СССР 31 октября — 2 ноября Молотов оценил англо-франко-турецкий договор отрицательно. И прямо спросил, не пожалеет ли об этом Турция?

ВОЛКОВ В. К. Многие высказывания, которые допускал Молотов в своих выступлениях, преследовали какие-то совершенно иные цели, чем прямо выказанные, имели демонстративный характер. Это хорошо видно на примере его заявления 1 августа 1940 г. на сессии Верховного Совета о том, что отношения Советского Союза и Германии строятся не на каких-то привходящих и конъюнктурных соображениях, а отражают глубинные интересы внешней политики Советского Союза¹.

Тогдашнее советское руководство из прагматических соображений выступало подчас с заявлениями, которые свидетельствовали не только о некомпетентности многих лиц и низком профессиональном уровне нашей дипломатии, но и об отсутствии прогностического мышления, т. е. попыток просчитать хоть на какой-то более или менее длительный период возможные варианты развития событий. Неудивительно поэтому, что слишком уж часто принимались ошибочные решения. Так что подобные заявления отражали скорее уровень руководства, чем его действительные взгляды и намерения.

Хочу отметить еще один момент. Летом 1940 г. встал вопрос о Буковине. Еще 23 июля Молотов сообщил Шуленбургу о желании Советского Союза поставить вопрос о Бессарабии и Буковине. Но если судьба Бессарабии была оговорена советско-германскими секретными протоколами, то проблема Буковины вызвала крупное недовольство в германском МИД. Здесь считали, что Буковина — одна из коронных земель Австро-Венгрии, что она никогда не входила в состав России. Лидеры Германии и Советского Союза как бы руководствовались своего рода концепцией «собирающих земель».

СМИРНОВА Н. Д. Муссолини отрицательно отнесся к советско-германскому пакту 1939 г. Он считал его изменой идее (это ярко выразилось в его «странном письме» от 3 января 1940 г.). Начиная войну, Гитлер, на мой взгляд, стремился вовлечь в нее наибольшее число государств. Он предложил Италии Хорватию, Венгрии — осуществить территориальные притязания в отношении Румынии, Литве — в отношении Польши. Согласно итальянским документам, литовское правительство вполне серьезно думало о возвращении древней столицы — Вильнюса.

Реакция же трех Прибалтийских государств на сам договор о ненападении от 23 августа в целом была положительной. Прежде всего они считали, что договором поставлен предел германскому движению на Восток, надеялись на создание «буферной зоны» (между Германией и СССР) и дальнейшее свое существование в качестве своеобразной «балтийской Антанты».

СЛУЧ С. З., ст. научн. сотр. (ИСБ)

Возникает вопрос, хотела ли Германия той войны, которая началась в сентябре 1939 г.? Нет, такой войны Гитлер не хотел. По крайней мере,

¹ Об этом см.: *Волков В. К.* Советско-югославские отношения в начальный период второй мировой войны в контексте мировых событий (1939—1941 гг.). — Советское славяноведение, 1990, № 6.

после Мюнхена он собирался воевать на Западе. И Польшу собирался привлечь, во всяком случае, если не в качестве союзника, то как благожелательного нейтрала. Но ситуация изменилась и приходилось менять стратегические установки, решать польскую проблему. Для этого Германия на протяжении весны — лета 1939 г. пыталась обеспечить себя союзниками, локализовать польскую кампанию. Попытки эти в отношении стран ЦЮВЕ результатов не дали. Практически Германия, если оставить за скобками Советский Союз, начинала польскую кампанию, а соответственно и вторую мировую войну, без союзников. Ситуация в какой-то степени уникальная. И в этой связи хотелось бы несколько подробнее остановиться на том, что, собственно, дал Германии заключенный 23 августа договор именно в плане решения польской проблемы? Зачем нужно было Германии соучастие Советского Союза в разделе Польши? Разумеется, не для того, чтобы отодвигать границу Советского Союза на запад, а прежде всего для того, чтобы изолировать на этот раз уже Советский Союз. Ибо любые действия СССР по отношению к Польше неизбежно усиливали напряженность между ним и целым рядом других государств, прежде всего западных. Не исключена была теоретически даже возможность объявления войны со стороны западных государств Советскому Союзу. В принципе вопрос о введении советских войск на территорию Польши был фактически предрешен положениями секретного протокола к советско-германскому договору о ненападении. Формулировки этого документа не оставляют места для двусмысленного толкования намерений как гитлеровского, так и сталинского руководства. Все же остальное было делом техники отношений двух тоталитарных режимов, техники обмана, шантажа и манипулирования как на международной арене, так и внутри страны. При этом выдвинутая 17 сентября 1939 г. задача «освобождения» народов Западной Украины и Западной Белоруссии ничего общего не имела с истинными имперскими амбициями Сталина и его ближайшего окружения. Народ в очередной раз выступал только в качестве средства этой политики. И на этом, в принципе, можно было бы поставить точку, ибо все дальнейшее развитие событий до 28 сентября 1939 г., когда капитулировала Варшава и в Кремле был подписан новый договор между «победителями», на этот раз о дружбе и границе, было запрограммировано августовскими соглашениями. Однако точку ставить еще рано, поскольку в представлениях очень многих людей политика СССР в сентябре 1939 г. все еще ассоциируется с триумфальным освободительным походом Красной Армии, приведшим к воссоединению западных областей Украины и Белоруссии с Советским Союзом. Но самое главное, с продвижением границ СССР на запад.

Получив сообщение о падении Варшавы поздно вечером 8 сентября, Молотов немедленно направил Шуленбургу телефонограмму: «Я получил Ваше сообщение о том, что германские войска вошли в Варшаву. Пожалуйста, передайте мои поздравления и приветствия правительству германской империи». В действительности 4-я танковая дивизия вермахта 8 сентября достигла окраин Варшавы, но натолкнулась на упорное сопротивление и была остановлена, а спустя два дня польская армия нанесла контрудар под Бзурой, где разгорелось крупное сражение, продолжавшееся десять дней. Польские войска изрядно потрепали вермахт, не надолго, но все-таки приостановив его наступление на Варшаву. Однако советское руководство такие детали не интересовали. С 3 сентября оно находилось под постоянным нажимом германской стороны, настаивавшей на безотлагательном введении Красной Армии в согласованную в секретном дополнительном протоколе «советскую сферу интересов на территории Польши». Однако советское руководство затягивало этот рискованный шаг, опасаясь прежде всего реакции на него западных держав. При этом Кремль, с одной стороны, заверял Берлин в том, что причиной задержки является неготовность частей Красной Армии, требующих пополнения резервистами. А с другой — постепенно разворачивал методичную антипольскую пропагандистскую кампанию в печати.

Освещение войны в советской прессе не носило нейтрального харак-

тера хотя бы уже потому, что в первую очередь и главным образом публиковалась информация германского верховного командования о положении на фронте. 9 сентября со ссылкой на этот источник «Известия» публикуют заметку «Германские войска вошли в Варшаву». В тот же день точно такую же заметку опубликовал «Völkischer Beobachter». Начиная с 11 сентября в советских газетах почти ежедневно публиковались сообщения о кочующем из одного города в другой польском правительстве, бросившем столицу и армию на произвол судьбы. 14 сентября «Правда» вышла с передовой под заголовком «О внутренних причинах поражения Польши», в которой проводилась мысль об определяющем значении невоенных факторов, обусловивших военный разгром Польского государства. «Правда» писала: «Трудно объяснить такое быстрое поражение Польши одним лишь превосходством военной организации Германии и отсутствием эффективной помощи Польше со стороны Англии и Франции». Пройдет несколько дней и эта недосказанность обретет конкретное содержание. А пока напряженность в общественном мнении нагнеталась, в частности, сообщениями, набравшимися крупным шрифтом, о нарушении границы с СССР польскими военными самолетами.

Еще за неделю до 17 сентября в Кремле начались консультации с германским послом относительно заявления советского правительства и о содержании ноты, которую предполагалось вручить послу Польши и направить дипломатическим представителям стран, аккредитованным в Москве. Согласно донесениям Шуленбурга в Берлин от 10 сентября, советское правительство намеревалось воспользоваться дальнейшим продвижением германских войск и заявить, что Польша разваливается на куски и вследствие этого Советский Союз вынужден прийти на помощь украинцам и белорусам, которым угрожает Германия. По мнению Молотова, сообщает Шуленбург, этот предлог делает вмешательство Советского Союза благовидным в глазах масс и предоставит ему возможность не выглядеть агрессором. Однако под давлением Риббентропа, заявившего, что подобная мотивировка противоречит соглашениям, достигнутым в Москве, первоначальный вариант ноты был изменен, хотя и не сразу. Так, по сообщениям Шуленбурга от 16 сентября, Молотов согласился с тем, что планируемая советским правительством формулировка «содержала в себе оттенок, обидный для чувств немцев», но просил, принимая во внимание сложную для советского правительства ситуацию, «не позволять подобным пустякам вставать на нашем пути». Советское правительство не видит какой-либо другой возможности для мотивации своих действий, поскольку до сих пор Советский Союз не проявлял озабоченности о положении своих меньшинств в Польше и должен так или иначе оправдать перед внешним миром свое теперешнее вмешательство.

Шуленбург следующим образом описывал заключительный этап согласований с советским руководством: «Сталин в присутствии Молотова и Ворошилова принял меня в 2 часа ночи 17 сентября и заявил, что Красная Армия пересечет советскую границу в 6 часов утра на всем протяжении от Полоцка до Каменец-Подольска. Сталин зачитал мне ноту, которая будет вручена этой же ночью польскому послу. Зачитанный мне проект содержал три пункта, для нас неприемлемых. В ответ на мои возражения Сталин с предельной готовностью изменил текст так, что теперь нота нас вполне удовлетворяет». Из ноты выпало всякое упоминание о германской угрозе украинцам и белорусам, проживающим на территории Польши. Ее в действительности и не было, так как по секретному дополнительному протоколу от 23 августа эти территории отходили в «сферу интересов» Советского Союза.

Иное впечатление осталось от этой ночи у польского посла Гжибовского. В 2 часа 15 минут ему сообщили, что через 45 минут его ждет в Кремле Молотов. Однако он был принят заместителем наркома иностранных дел Потемкиным, зачитавшим ему только что согласованную с Шуленбургом ноту советского правительства. Выслушав текст, Гжибовский заявил решительный протест и отказался передавать своему правительству содержание ноты. «У меня все еще есть надежда,— заявил польский

посол, — что Ваше правительство не отдаст приказ Красной Армии вступить на территорию Польши и не ударит нам в спину в тот момент, когда мы сражаемся против немцев». Гжибовский выразил согласие поставить свое правительство в известность только о самом факте нападения Советского Союза на Польшу. Потемкин решил сообщить Сталину и Молотову о позиции польского посла и попросил Гжибовского подождать. Примерно через полчаса он сообщил польскому послу, что правительство СССР не может изменить принятых решений. В тот же день послы Польши в Париже и Лондоне официально уведомили правительства Франции и Великобритании, что 17 сентября 1939 г. СССР предпринял нападение на Польшу. Польское правительство заявило протест Москве и дало указание своему послу потребовать паспорта.

Все публикации на страницах советской печати так или иначе, естественно, отталкивались от выступления Молотова по радио 17 сентября 1939 г. Он, в частности, сказал: «События, вызванные польско-германской войной, показали внутреннюю несостоятельность и явную недееспособность Польского государства. Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. В силу такого положения заключенные между советским правительством и Польшей договоры прекратили свое действие. В Польше создалось положение, требующее со стороны советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным, но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создававшемуся положению. Советское правительство отдало распоряжение Главному Командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии». Что касается «заботы» об этом населении, то об этом достаточно красноречиво было уже сказано языком документов. Но в выступлении Молотова есть еще некоторые места, на которые необходимо обратить внимание. Во-первых, Молотов признал, что СССР в отношении Польши перестал быть нейтральным государством. Пройдет полтора месяца и Молотов более четко сформулирует роль СССР в ликвидации Польского государства, выдвинув концепцию «двух ударов» — со стороны сперва германской, а затем советской армий. И будет абсолютно прав, отразив истинные намерения и действия сталинского руководства. Во-вторых, Молотов упомянул о том, что в связи с прекращением существования Польского государства прекратили свое действие и советско-польские договоры. Что здесь имеется в виду? Рижский мирный договор 1920 г., договор о ненападении 1932 г., а также конвенция об определении агрессии 1933 г. Однако в данном случае Молотов, разумеется, недоговаривал, ибо начиная с 23 августа 1939 г. советское правительство неоднократно нарушало прежде всего договор с Польшей о ненападении от 25 июля 1932 г. А 17 сентября нарушило и все другие договоры. Достаточно назвать только такие действия советской стороны, как оказание политической и военной поддержки третьему рейху до 17 сентября 1939 г., выразившееся в содействии развязыванию германо-польской войны, в сосредоточении крупных вооруженных сил на границе с Польшей, предоставлении возможности использования радиостанции Минска в качестве радиомаяка для немецких военных самолетов, выполнявших боевые задачи над территорией Польши, запрещении транзита военных грузов в Польшу через свою территорию, пропагандистском прикрытии нацистской агрессии на страницах советской печати. Все это было грубым нарушением заключенных в различные годы советско-польских договоров и соглашений.

Агрессия 17 сентября 1939 г. была следствием, закономерно вытекавшим из поведения СССР на международной арене после 23 августа. Руководствуясь имперскими амбициями, сталинское руководство пошло на беспрецедентную по своему цинизму сделку с нацистским рейхом, чем способствовало развязыванию второй мировой войны.

Совершив 17 сентября агрессию против Польши, сталинский режим

де-факто втянул Советский Союз во вторую мировую войну на стороне нацистской Германии. И я хочу подчеркнуть здесь принципиальное различие между втягиванием СССР во вторую мировую войну, которое действительно произошло в сентябре 1939 г., и Великой Отечественной войной, которая началась 22 июня 1941 г. Два этих события не нужно смешивать.

ПАРСАДАНОВА В. С., д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (ИСБ)

Как Вы расцениваете то, что Польша не объявила и не считала себя в состоянии войны с Советским Союзом в сентябре 1939 г.?

СЛУЧ С. З. То, что Польша не объявила Советскому Союзу войну, хотя и требовала соответствующих шагов со стороны Англии и Франции, лишь показывает тяжесть положения, в котором находилась страна на момент 17 сентября.

ПРИБЫЛОВ В. И., канд. ист. наук, ст. научн. сотр. Ин-та истории АН БССР (Минск)

Как вы учитываете национальные интересы украинского и белорусского народов при оценке договора от 17 сентября 1939 г.?

СЛУЧ С. З. В данном случае имели место лишь имперские амбиции сталинского руководства. Истинные интересы украинского и белорусского народов были только разменной монетой в «большой игре» СССР и Германии.

ПРИБЫЛОВ В. И. Не могу с Вами согласиться в том, что интересы белорусского и украинского народов были второстепенными. Речь идет о национальном развитии народов, которые Рижским миром были разделены надвое. На мой взгляд, Вы несколько увлеклись обвинительным уклоном сталинского руководства, а вот вопросы, которые лежали в основе этой политики, у Вас выпали.

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. То, что по Рижскому миру была допущена историческая несправедливость в отношении украинского и белорусского народов, думаю, не подлежит сомнению. Но это одна сторона вопроса. Другая же заключается в следующем: вторая мировая война возникла не как локальный конфликт, касалась судеб не того или иного народа. Это была тотальная война, направленная на порабощение всех народов. В истории неоднократно возникали определенные противоречия между конкретной ситуацией, связанной с судьбой одного народа, и глобальной ситуацией, которая в конечном счете и определяла судьбу этого народа. Давайте рассмотрим с этой точки зрения не только 1 и 17 сентября 1939 г., но и 22 июня 1941 г., ибо эти даты взаимосвязаны. К чему привело решение, которое было в принципе принято до 1 сентября (т. е. в момент заключения пакта о ненападении) и реализовано последовательно обеими сторонами (соответственно 1 и 17 сентября)? Оно привело к тому, что СССР, в котором была сосредоточена основная масса украинского и белорусского населения (имевшего свою советскую государственность), оказался на грани катастрофы и полного краха всех живущих в нем народов. 22 июня 1941 г. было заложено 23 августа 1939 г. В конечном счете вопреки тому, что воображало себе тогдашнее советское руководство, все, что случилось в сентябре 1939 г., открыло Гитлеру путь в СССР, а не наоборот. Хотя советское руководство думало как раз иначе. Мне кажется, совершенно правомерна постановка вопроса о том, что в сущности это был удар в спину тому государству (пусть и построенному на национальном неравенстве), которое находилось между Германией и Советским Союзом. И ликвидация его была направлена прежде всего против национально-государственных интересов всех народов, населяющих СССР.

ГРИГОРЬЯНЦ Т. Ю., канд. ист. наук, научн. сотр. (ИСБ)

Хочу поддержать тезис С. З. Случа о том, что вопрос о западнобелорусских и западноукраинских землях для Сталина и Гитлера был в бук-

вальном смысле «дипломатической уловкой» в их политической игре. В отношении Гитлера это подтверждается как документом, составленным в ведомстве Розенберга в июне 1939 г. (см.: Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1989, с. 65—66), так и записями в дневнике начальника штаба сухопутных войск (ОКХА) Ф. Гальдера.

Вернусь к беседе Шуленбурга со Сталиным 17 сентября. Тогда Сталин сказал, что советские самолеты начнут уже сегодня бомбардировку восточнее Львова. Это еще раз показывает, что сами народы никакой ценности ни для Гитлера, ни для Сталина не представляли, их жизни собирались использовать и тот и другой.

ПОЖИВАЙЛОВА Т. А., канд. ист. наук, ст. научн. сотр. (ИСБ)

Если принять тезис о том, что отношение Сталина к белорусскому, скажем, народу было еще более циничным, чем Гитлера, то откуда такое движение сопротивления в Белоруссии и такой повальный геноцид по отношению к народу в целом во время гитлеровской оккупации? Безусловно, гитлеровский геноцид проводился против народов в целом, а сталинский — опирался на сложившиеся классовые догмы.

ПОП И. И., д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (ИСБ)

На мой взгляд, в данном случае смешиваются разные понятия: сопротивление украинского и белорусского народов в период войны и то, что произошло после 17 сентября 1939 г. Убежден, что ни о каких национально-государственных интересах, украинских или белорусских, в тот момент говорить нельзя. Украинская и белорусская советские государственности были в сталинской империи чистой формальностью. Никакими правами они не пользовались и не могли и мечтать о культурно-национальных правах, которые имело, например, украинское население в Галиции, входившей в состав Польши. Кстати, все украинские политические группировки и партии 1 сентября 1939 г. с трибуны Сейма в Варшаве заявили о своей полной политической лояльности Польскому государству. И лишь маргинальная группа ОУН выступила против Польши. Воевавшие в польской армии украинцы и белорусы (от солдат до офицеров) были героями борьбы против фашизма.

Через месяц после 17 сентября на Западной Украине были разрушены все культурные учреждения, их представители были отправлены в «холодные края». И здесь о каких-то национальных интересах и национальной защите говорить не приходится. Были просто имперские интересы Сталина.

ПРИБЫЛОВ В. И. Как же тогда оценивать приветствие украинским населением вступления советских войск на территорию Западной Украины, а также имевшие место конфликты между украинцами и польским населением, остановленные именно советской армией?

ПОП И. И. Это вполне объяснимо: были разные слои и среди украинского крестьянства, существовала вражда между украинцами и поляками-осадниками, являвшимися опорой режима Пилсудского на Западной Украине. Было и крестьянство, подпавшее под воздействие пропагандистской кампании раздачи помещичьих земель и приветствовавшее советские войска. Позже украинское крестьянство заплатило за это большой кровью в ходе гражданской войны, продолжавшейся до 1952 г.

МАРЬИНА В. В., д-р ист. наук, зав. сектором (ИСБ)

В Центральном партийном архиве ИМЛ существует документ с поправками Жданова. Он дает представление о том, как готовилась декларация от населения Западной Украины с приветствиями Красной Армии и заявлением о согласии присоединиться к Советскому Союзу. Это интересный документ, раскрывающий политическую кухню событий.

Остановлюсь на более частном вопросе — о характере нейтралитета Болгарии.

Нейтралитет и стремление к мирной ревизии Нейского договора 1919 г. Болгария подчеркивала еще накануне второй мировой войны. Несмотря на сильное дипломатическое давление со стороны великих держав, царь Борис и болгарское правительство не спешили примкнуть ни к одной из группировок и занимали выжидательную позицию, понимая, что в напряженной обстановке предвоенного соперничества цена маленькой Болгарии будет неуклонно повышаться. И это позволит ей лавировать до того момента, пока не станет ясно, участие в каком из блоков позволит Болгарии извлечь для себя максимальную выгоду при минимальных потерях.

В то же время уже накануне войны начала обозначаться линия правящих кругов на сближение с фашистской Германией. В секретной директиве № 19 о позиции Болгарии в создавшейся международной обстановке, которую премьер-министр Г. Кыосеиванов направил в апреле 1939 г. всем болгарским посольствам за границей, говорилось: «Наши экономические связи с Германией, которые поглощают более 75% нашего экспорта, делают для нас невозможным, независимо от политических образований, присоединение к демократическим государствам против тоталитарных государств». Далее отмечалось, что Германия является основным поставщиком оружия для Болгарии, что также делает позицию болгарского правительства понятной. Правда, в директиве выражалось опасение, что Болгарии будут поставлены политические условия с германской стороны. И специально подчеркивалось, что в конечном итоге Болгария будет придерживаться выжидательной политики. Но с началом войны политические силы Болгарии оказались в новой ситуации. Борьба дипломатии двух блоков за Болгарию приняла более интенсивный характер.

15 сентября 1939 г. правительство Кыосеиванова официально заявило о нейтралитете Болгарии в начавшейся мировой войне. Болгарским дипломатам за границей вменялось в обязанность особенно настойчиво подчеркивать миролюбие и нейтралитет Болгарии, при этом разъясняя, что Болгария не отказывается от требований ревизии Нейского договора мирным путем. В этом же духе были выдержаны многочисленные высказывания царя Бориса и других болгарских политических деятелей. Встает вопрос, насколько эти заявления соответствовали действительным намерениям болгарских правящих кругов, каков был истинный характер объявленного Болгарией нейтралитета?

В исторической литературе этот вопрос остается дискуссионным. Большинство ученых полагает, что болгарское правительство следовало политике так называемого «мнимого нейтралитета», под прикрытием которого сознательно, целенаправленно и неуклонно проводило курс на всестороннее привязывание Болгарии к гитлеровской Германии. Согласно другой точке зрения, Болгария действительно придерживалась политики мира и нейтралитета, выразившейся в неприсоединении и свободном лавировании между противоречивыми тенденциями в международных отношениях. Постепенно оформилась и третья точка зрения, заключающаяся в том, что не было твердой прогерманской ориентации Болгарии, но и нейтралитет не был последовательным. Один из ведущих специалистов по истории Болгарии периода второй мировой войны Д. Сирков в своем вышедшем в 1979 г. труде «Внешняя политика Болгарии 1938—1941 гг.» пришел к выводу, что внешняя политика Болгарии в рассматриваемый период не диктовалась ни «мнимым нейтралитетом», ни линией «последовательного нейтралитета» и неприсоединения. В этой политике имелись элементы и того, и другого, но она этим отнюдь не исчерпывалась. «Речь идет, — пишет автор, — о такой политической линии, о таком нейтралитете, который содержит в себе постоянно возрастающее прогерманское ядро... Если в конце 1939 г. и начале 1940 г. утверждается линия „шагания в ногу с Германией“ при неучастии в военном конфликте, то

в апреле—октябре 1940 г., когда фашистский блок одерживает ряд крупных побед, Болгария уже ориентируется на частичную реализацию своих требований при поддержке Германии. Болгарское правительство уже придерживается тезиса о „невоюющей“, а не „нейтральной“ стороне».

Наряду с правительственными, на политической арене страны действовали в тот период и другие силы: буржуазная нефашистская оппозиция, левые силы во главе с Болгарской рабочей партией (БРП). Примечательно, что все политические силы в стране, за исключением крайне экстремистских кругов реакционной военщины, действовали в рассматриваемый период под одним лозунгом «За мир и нейтралитет», но каждая из них вкладывала в эти понятия совершенно различное содержание, имела собственную внешнеполитическую концепцию. С самого начала войны нефашистская буржуазная оппозиция подчеркивала справедливую, антифашистскую направленность борьбы Англии и Франции. Эту линию поддерживали радикалы, демократы, правые социал-демократы, часть деятелей БЗНС. БРП отстаивала лозунг нейтралитета, опирающегося на СССР, и требовала заключения договора о взаимопомощи между Болгарией и Советским Союзом. До ноября 1939 г. БРП видела в войне освободительные тенденции при общей оценке войны как империалистической, не исключала возможности превращения ее в справедливую для противников Германии. Однако в ноябре 1939 г. БРП фактически воспринимает новую политическую линию в области как внешней, так и внутренней политики. Война по-прежнему оценивалась как империалистическая, но, во-первых, главными ее поджигателями называются Англия и Франция, а, во-вторых, игнорируется возможность перерастания войны для противников Германии в справедливую. Полностью отрицались освободительные тенденции в войне. Возобладало мнение, что пока существуют буржуазные правительства, противники Германии не могут вести справедливую войну. БРП отрицала необходимость антифашистского этапа в развитии революционного кризиса и возможность сотрудничества с нефашистской буржуазией; лозунг Народного фронта заменялся новой формулой — «Единство действий рабочего класса и других трудящихся против капиталистической диктатуры и эксплуатации». Острые борьбы направлялось уже не против фашистской буржуазии, а против буржуазии вообще. Несомненно, эти недостатки в политической линии БРП объяснялись прежде всего ошибочными установками Коминтерна в тот период.

До весны 1940 г. БРП вела борьбу против обоих воюющих блоков, в равной степени оценивая их как агрессивные и империалистические. Однако уже в мае—июне 1940 г. (с поражением Франции) БРП сосредоточивает основной огонь против германского фашизма. Наиболее отчетливо перемена во внешнеполитическом курсе партии видна в воззвании ЦК в начале августа 1940 г. Это воззвание стало известно в Лондоне и было передано по радио с комментариями, что, очевидно, Россия решила порвать советско-германские отношения и наметнула о своих истинных намерениях в отношении Германии через БРП (во главе которой стоит Генеральный секретарь Коминтерна Г. Димитров). Поскольку все это произошло вскоре после пресловутой речи Молотова 1 августа, уловка английской пропаганды имела далеко идущие последствия. Димитров был вызван к Сталину и вынужден давать объяснения по поводу действий БРП. Вскоре Димитров в свою очередь вызвал к себе представителя Внутреннего ЦК БРП Ц. Драгойчеву с подробным отчетом о деятельности партии.

Внешнеполитический курс Внутреннего ЦК был подвергнут в Москве резкой критике. После отъезда Драгойчевой Загранбюро направило Внутреннему ЦК письмо, а затем телеграмму, в которых предлагало всесторонне обсудить позицию партии и срочно исправить ее тактику в соответствии с директивами Коминтерна. В конце сентября 1940 г. Внутренний ЦК под давлением Загранбюро вновь изменил свою внешнеполитическую линию.

МАРЬИНА В. В. Позволю себе остановиться на чехословацком вопросе и отношении к нему СССР после начала второй мировой войны.

17 сентября 1939 г. в официозной словацкой газете «Slovenská politika» появилось сообщение об установлении дипломатических отношений между СССР и Словацкой республикой. В существующей литературе по данному вопросу в качестве основного аргумента, объясняющего действия СССР, приводилось то, что он не хотел допустить укрепления влияния Германии в этом марионеточном славянском государстве. На мой взгляд, это объяснение вторично и вытекает из главного: сближение с Германией диктовало СССР и новый подход к чехословацкому вопросу, который не должен был стать «камнем преткновения» в реализации взятого Советским Союзом курса. В словацкой официальной печати факт установления дипломатических отношений с СССР был оценен весьма положительно (большие надежды при этом возлагались на экономическое сотрудничество). С радостью эта весть была встречена и действовавшими в подполье словацкими коммунистами. В свете развивавшихся событий все более двусмысленным и не отвечающим интересам советской стороны становилось положение все еще функционировавшего в СССР чехословацкого посольства. Посол З. Фирлингер надеялся на сохранение status quo, хотя и отдавал себе отчет в том, что такое положение не может сохраняться долго.

Внешнеполитический курс СССР на сближение с Германией, ведший к ослаблению возможного антигитлеровского фронта, естественно, не мог вызвать симпатий Э. Бенеша (и группировавшейся вокруг него западной чехословацкой эмиграции). Этот курс ставил под угрозу успех дела восстановления Чехословакии, что, по мнению Бенеша, было возможно лишь с изменением расстановки сил на европейском континенте в результате войны и поражения в ней Германии. Однако Бенеш никогда не верил в искренность советско-германской «дружбы», видя в действиях советского руководства лишь тактический шаг и полагая, что в конечном счете Гитлер не откажется от своей идеи похода на Восток, а СССР окажется в едином с западными державами блоке борьбы против немецкого фашизма.

Вступление Красной Армии на территорию сражающейся Польши и установление новой границы СССР хотя и не вызвали всеобщего одобрения, но приветствовались достаточно широкими слоями чешского населения, которое связывало с этим надежды на освобождение от немецкой оккупации. Налицо была и негативная оценка происшедшего некоторыми функционерами бывшей Социал-демократической партии и др. Коммунисты осенью 1939 г. в подполье по-прежнему выступали под лозунгом восстановления новой, свободной Чехословацкой республики (в марте 1940 г., следуя новой линии Коминтерна, КПЧ от него отказалась, заменив лозунгом о полном праве на самоопределение для чехов и словаков).

1 декабря 1939 г. СНК СССР принял постановление об открытии представительства СССР в Словакии (во главе с Г. М. Пушкиным). 11 декабря в Москву прибыл словацкий посол Ф. Тисо (брат президента Словацкой республики Ш. Тисо). Три дня спустя протокольный отдел НКВД СССР сообщил Фирлингеру, что советское правительство далее не может признавать его дипломатические функции (сотрудникам посольства предоставлялось право остаться в Москве на положении частных лиц). 25 декабря Фирлингер отбыл из Советского Союза. Ликвидация посольства в Москве наносила чувствительный удар по планам Бенеша, связанным с восстановлением Чехословакии. Он расценивал этот шаг как «еще одно удручающее событие». Происшедшее не могло содействовать и росту прорусских, просоветских настроений в оккупированных чешских землях. В частности, подпольная газета «V boj» расценила это как признание Советским Союзом оккупации Чехословакии. Проявившееся в целом охлаждение в отношении к СССР было связано и с начавшейся советско-финляндской войной, которую значительная часть чешской общественности оценивала как несправедливую со стороны Советского Союза.

ПОКИВАЙЛОВА Т. А. По-видимому, необходимо отметить сложность взаимоотношений между заграничными центрами Коминтерна и руководством компартий. Первой реакцией румынской компартии на начало второй мировой войны было выступление в защиту Польши, которая, как говорилось в заявлении, ведет справедливую войну за свою независимость. Компартия Румынии продолжала вести линию на развитие антифашистской борьбы и создание широкого Народного фронта, на негативное отношение к фашистским и тоталитарным организациям типа Национального фронта возрождения и корпоративных союзов. Некоторые документы позволяют считать, что изменение Внутренним руководством внешнеполитической линии (в соответствии с установками Коминтерна) происходило не без сопротивления этому со стороны определенной части коммунистов.

ГРИГОРЬЯНЦ Т. Ю. Остановлюсь на отражении в немецких документах трагических событий 17 сентября и последующих дней (до заключения 28 сентября советско-германского договора о дружбе и границе). Соединения вермахта не остановились на согласованной по секретному протоколу демаркационной линии. Гальдер записал в своем дневнике 17 сентября: «2 часа ночи. Сообщения о том, что русские двинули свои армии через границы Польши. В 7 часов утра — приказ нашим войскам остановиться на линии Сколе — Львов — Владимир-Волынский — Брест — Белосток». И далее: «В первой половине дня 17-го обмен мнениями ОКВ [Верховное главнокомандование вермахта] относительно будущей демаркационной линии». В дневниковой записи за 20 сентября (речь идет о событиях 17 сентября) он пишет: «Трения с Россией: Львов... Разговор с генерал-полковником Браухичем. Йодль: действовать совместно с русскими, немедленное совместное урегулирование разногласий на месте... Решено: русские займут Львов. Немецкие войска очистят Львов... День позора немецкого политического руководства». Так Гальдер расценил распоряжение Гитлера об оставлении занятых немецкими войсками районов.

Далее следует довольно любопытная запись Гальдера: «Для удовлетворения настойчивых требований Ворошилова фюрер принял решение об окончательной демаркационной линии, о чем сегодня будет официально объявлено... Она проходит по рекам Писа — Нарев — Висла — железная дорога вдоль Сана — Перемышль... 17.00. Крепс докладывает: переговоры закончились в дружественной обстановке» (Крепс — заместитель германского военного атташе в Москве).

Как мы знаем, переговоры завершились совместным германо-советским коммюнике от 22 сентября, в котором говорилось следующее: «Германское правительство и правительство СССР установили демаркационную линию между германской и советской армиями, которая проходит по реке Писа до ее впадения в реку Нарев, далее по реке Нарев до впадения ее в реку Буг, далее по реке Буг до ее впадения в реку Висла, далее по реке Висла до впадения в нее реки Сан и дальше по реке Сан до ее истока». Вместе с коммюнике в советской прессе была опубликована карта демаркационной линии. Она оказалась как раз той линией раздела сфер влияния, которая была обозначена в секретном протоколе к пакту о ненападении. Теперь дело шло уже к подписанию договора о границе.

Риббентроп писал Шуленбургу в телеграмме от 22 сентября, что «русский ход мыслей установить границу вдоль известной линии по четырем рекам совпадает в общем с точкой зрения имперского правительства». Риббентроп выразил готовность вновь прилететь в Москву. 25 сентября в 20 часов Сталин пригласил Шуленбурга в Кремль. Последний после беседы со Сталиным записал: «Сталин заявил, что ему кажется, что оставление самостоятельной, остаточной Польши ошибочно. Он сделал следующее предложение: от области, лежащей восточнее демаркационной линии, к нашей части должны быть добавлены все воеводство Люблин и часть Варшавского воеводства до Буга, за это мы отказываемся от Литвы. Сталин добавил, что в случае нашего согласия Советский Союз при-

ступил бы тотчас же к решению проблемы балтийских государств в соответствии с секретным протоколом от 23 августа. И при этом он ожидает безусловной поддержки германского правительства. Сталин говорил исключительно об Эстонии, Латвии и Литве, не упоминал, однако, Финляндию».

27 сентября в Москву прибыл Риббентроп. На следующий же день был подписан договор о дружбе и границе и секретные протоколы, где фиксировалось частичное изменение (с учетом предложений Сталина) германо-советской границы.

СЛУЧ С. З. Изменение точки зрения Сталина на пограничную проблему произошло примерно 25 сентября, поскольку утром 25 сентября в Берлине об этом ничего не знали: в середине дня Гитлер подписал директиву, предусматривавшую в случае необходимости захват Литвы.

ПАРСАДАНОВА В. С. Среди многих еще недостаточно разработанных проблем начального периода второй мировой войны — вопрос о депортациях населения, о военнопленных и интернированных в СССР².

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. С моей точки зрения, в момент перед началом войны, а тем более, когда она уже началась, все, что происходило в странах ЦЮВЕ, определялось международной ситуацией, тем соотношением сил и теми процессами, которые происходили в треугольнике Запад — фашистские державы — Советский Союз. Необходимо отметить с точки зрения общей методологической посылки: попытки анализировать ту или иную из существовавших проблем саму по себе дают неадекватный взгляд на исторический процесс. Их невозможно вычленить из общего исторического процесса, в котором есть определяющие факторы (все же остальное оказывается подчиненным).

На мой взгляд, наша «организованная история» (классическая — социальная или классовая школа) не дает подлинного ответа на вопрос, что происходило накануне войны, в ее начальный период и впоследствии.

Много лет представителями этой школы культивировался довольно примитивный взгляд: существовал фашистский агрессор, с которым, как будто, все ясно; были некоторые зловередные западные державы, непрерывно подыгрывавшие этому агрессору для того, чтобы он обрушился на Советский Союз; наконец, был третий игрок, который играл всегда одну и ту же свою партию «за мир, безопасность и укрепление международной стабильности».

Мне кажется, что накануне войны, и в ее начальный период тем более, проявилась одна очень существенная черта, заключающаяся в том, что каждый, кто плыл в хаосе международных отношений, исходил из их конкретной комбинаторики, складывающейся сиюминутно их системы, баланса сил и их взаимосвязи. С другой стороны, четко проявилась неотделимость внешней политики от внутренней, от природы того строя, который существовал в том или ином государстве. У государств с одним типом политического режима оказались одни возможности маневрирования. А у государств с другим типом эти возможности были совершенно иными. В реальной системе международных отношений страны ЦЮВЕ существовали между двумя из трех основных международных партнеров: между Германией (и ее союзницей Италией) и СССР. Запад был третьей стороной, но практической роли в итоге не сыграл. Эта политическая структура изначально определяла все то, что должно было происходить в этих странах в зависимости от целей и действий, с одной стороны, Германии (и Италии), с другой стороны, Советского Союза. Судьба Восточной Европы в этой ситуации зависела от того, как сложатся отношения между СССР и Германией.

² Основные положения выступления В. С. Парсадановой нашли отражение в опубликованной в журнале «Советское славяноведение» (1990, № 5) статье «К истории интернированных в СССР солдат и офицеров Войска Польского».

В чем заключался национально-государственный интерес СССР в главном? Обезопасить себя от агрессии, сохранить то положение, которое оказалось ослабленным в Восточной Европе после ликвидации Чехословацкой республики. А это значит — сохранение самого крупного государства, Польши, которое и отделяло СССР от Германии. Как действовало руководство Советского Союза в этой ситуации? Прямо противоположным образом.

Можно обнаружить определенную преемственность в той политике, которая была обречена, в сущности, 23 августа, и в том, что дальше происходило на протяжении всего первого периода войны. Советский Союз последовательно включает в свой состав прилегающие территории: либо целиком другие государства, либо территории, находящиеся в составе других государств. Сегодня говорилось о государственной идее «собираания земель». Но вставая на эту точку зрения, мы будем стоять на самом деле не на реальной геополитической почве, а на почве тех представлений об имперской модели, которые унаследовал Сталин. Это совершенно разные вещи. Наконец, некоторые присоединенные территории (Буковина, Галиция) никогда в Российскую империю не входили. Я думаю, что вряд ли можно исследовать это явление, не обратившись к тому, что имело место спустя несколько месяцев после рассматриваемого нами периода: предложению о заключении пакта четырех держав, которое было сделано в Берлине в ноябре 1940 г. (сегодня стало очевидным, что все документы, опубликованные по этому поводу, соответствуют действительности). И мы ответили (начиная с конца ноября, а затем в январе 1941 г.) положительно. Этот ответ, между прочим, предусматривал определенные территориальные приращения (и не малые) не на Западе, а к югу от наших границ. Если идти от этих фактов, то вся система советской внешней политики, в том числе и в отношении стран ЦЮВЕ, предстает как симбиоз разных факторов, одним из которых было то обстоятельство, что советское руководство известным образом плыло по течению, не имея сколько-нибудь реального стратегического замысла.

И второе обстоятельство: в этот момент невероятный интерес Сталина вызвали возможности прямого или косвенного (в виде патронирования) приращения территорий или утверждения влияния СССР. По крайней мере в регионе ЦЮВЕ это сказывалось чрезвычайно. Выполнима ли была эта политика в рамках системы советско-германских договоров? На регионе ЦЮВЕ, как мне представляется, раньше всего обнаружилось, что это была задача, поставленная людьми, решительно ничего не понимавшими ни в международных отношениях, ни в интересах своей собственной страны.

Советский Союз этой политикой последовательно подрывал все возможности обеспечения своей внешней безопасности, открывал Германии шаг за шагом поле полного охвата на Востоке. Сегодня уже говорилось, что в Балканских странах имелись германская, англо-французская (позже чисто английская), наконец, просоветская (переплетенная с традиционной прорусской) ориентации. Выступая против прозападной ориентации и одновременно демонстрируя свою неспособность оказать реальное влияние на развивающиеся события, СССР блокировал союз антигерманских сил внутри этих стран. В то же время руководство СССР создавало в широчайших народных массах иллюзию советско-германского сотрудничества, которую и использовали прогерманские правящие круги этих стран. Этой политикой (ее ориентированностью) фактически заранее под германское господство отдавалось то, что еще оставалось от региона Восточной Европы.

Именно политика Советского Союза в рассматриваемый период, в сущности, привела к тому, что антифашистское сопротивление на государственном уровне не было организовано и оказалось фактически невозможным.

СМИРНОВА Н. Д. Прежде всего некоторые коррективы по вопросу о «блоке нейтралов». Первоначальная инициатива его создания осенью

1939 г. принадлежала Германии. Вайцеккер на переговорах с итальянскими руководителями высказал идею, что Италия должна создать на Балканах некую экономическую конфигурацию, которая воспрепятствовала бы англо-французской блокаде. По германскому плану конца 1939 г. Италии нужно было сколачивать «блок нейтралов» на Балканах и в Средиземноморье. В него также должны были входить часть латиноамериканских и скандинавских стран.

Некоторых уточнений требует и вопрос так называемого исключения Советского Союза из Лиги Наций. По сути это было не исключение, а скорее констатация существующего факта. Об этом свидетельствует и формулировка, которая содержалась в решении Совета Лиги Наций: «Советский Союз поставил себя своей акцией вне рамок Лиги Наций». На мой взгляд, позиция Англии и Франции свидетельствует, скорее, о том, что они делали все возможное для того, чтобы не оказаться вовлеченными в вооруженный конфликт с Советским Союзом. Западные страны, понимая характер советско-германских отношений и неизбежность предстоящего конфликта, все же не хотели в тот период окончательно бросить Советский Союз в объятия Германии, пытались не допустить интернационализации советско-финляндской войны.

ВАРСЛАВАН А. Я., д-р ист. наук, профессор Латвийского гос. ун-та (Рига)

В конце 1939 г. на Прибалтику так же, как на Балканы и Польшу, действовали три основные силы, определенные Л. Я. Гибианским. В этой связи хочу обратить внимание на изменение характера политики Советского Союза в отношении Прибалтики. В 1939 г. он отошел от провозглашенных ранее принципов мирного сосуществования и перешел на принципы дипломатического и даже военного давления. Переломным моментом был договор от 23 августа, который несет в себе, по крайней мере, три основных отказа от принципов мирного сосуществования. В последующем отношения с Прибалтийскими государствами осуществлялись Советским Союзом с позиций полного демонтажа принципов мирного сосуществования, с учетом приобретенного опыта с Польшей.

Принцип дипломатического давления фактически проявился в заключении в сентябре—октябре 1939 г. договоров о сотрудничестве и ненападении с Прибалтийскими государствами. Уже в ходе переговоров с Мунтерсом (министр иностранных дел Латвии) Сталин заявлял: можете делать, что хотите, но у нас с Германией есть договоренность и Германия ничего не будет предпринимать против наших действий в советской зоне интересов. Очевидно, что момент принуждения здесь налицо. Еще более зримо политика дипломатического принуждения проявилась в отношении Финляндии. Но Финляндия не поддавалась давлению, и Советский Союз применил военную силу, чтобы фактически достичь той же цели, которая была достигнута в Прибалтике.

В дальнейшем — ультимативные ноты Прибалтийским государствам в июне 1940 г. Они несут в себе и дипломатическое, и военное давление. Не требует дополнительного пояснения факт ввода в небольшое государство вдвое большего контингента армии, чем армия данного государства. Это действие никак не согласуется с принципами мирного сосуществования.

Далее появился еще один прием — экспорт революции (через своих «дипломатических заместителей»), который фактически облегчил для сталинской политики того времени внешнеполитический кризис Прибалтики.

МАРЬИНА В. В. Существовала ли, по Вашему мнению, осенью 1939 г. угроза Прибалтийским республикам со стороны Германии?

ВАРСЛАВАН А. Я. Во внешнеполитическом положении, по моему мнению, Прибалтийский регион уже с конца 1937 г. вошел в кризисное положение. После Чехословакии, а особенно после Клайпеды, угроза со стороны Германии особенно чувствовалась в отношении Латвии и

Литвы. Как результат этого — заключение в июле 1939 г. договоров о ненападении между Латвией и Эстонией, с одной стороны, и Германией — с другой, которые стали первым шагом в демонтаже политики «чистого нейтралитета», объявленной Прибалтийскими республиками в конце 1938 г.

Другим шагом этого процесса явилось заключение в сентябре—октябре договоров с Советским Союзом. Это второй демонтаж. Политика «чистого нейтралитета» потерпела полную неудачу. И потерпела частично потому, что и третья сила — в лице Англии — отказалась от политических гарантий в отношении Прибалтики. Во внешнеполитическом положении Прибалтийский регион оказался в кризисном положении.

Говоря о сложной обстановке 1939 г., нельзя не коснуться и внутриполитических особенностей в Прибалтийских государствах. В руководящих звеньях их управления наблюдались определенные расслоения. В дипломатическом корпусе прослеживается прогерманская ориентация, в армейских кругах — прорусская. Последнее объяснимо: большинство старого высшего офицерства составляли выходцы из царской армии. К тому же сильные антигерманские настроения охватывали основные массы народа (что определялось почти семилетним господством германских баронов в первую мировую и гражданскую войны). В дипломатических и правительственных кругах Латвии во второй половине 1939 г. возобладала политика в направлении «большого восточного соседа». Заключение сентябрьского договора с Советским Союзом истолковывалось как положительное явление, которое создавало определенный status quo. И хотя заключение договора проходило под значительным дипломатическим давлением, он был оценен частично положительно. В народе тогда существовала поговорка-вопрос: «Что лучше — или под кнутом немца или под бородой русского?».

На мой взгляд, сохраняя буферную зону антигермански настроенных самостоятельных государств, Советский Союз больше бы предохранил свои границы, нежели сделал это включением их силой в свой состав. И это тоже один из аспектов политики «собираания земель» бывшей империи. Как подтверждение можно привести заявление Молотова в июле 1940 г.: «Мы можем радоваться, что наши бывшие земли полностью возвращаются в наш состав». Еще существовали суверенные Прибалтийские государства, но уже 18 июля 1940 г. был отдан приказ о создании Прибалтийского военного округа.

РЕШЕТНИКОВА О. Н., канд. ист. наук, научн. сотр. Института истории СССР АН СССР

С начала второй мировой войны Югославия оказалась практически в полной изоляции, зажата «в клещи» между Италией и Германией. Привычная политика балансирования уже не давала ей гарантий против возможной экспансии со стороны «дружественных» Германии и Италии, на помощь западных держав рассчитывать не приходилось. Вот почему Белград больше не мог продолжать игнорировать Советский Союз как фактор международной политики, тем более, что Германия, этот «великий сосед» и «друг» Югославии, находилась чуть ли не в союзнических отношениях с СССР. Вследствие этого политика Югославии с началом войны приобретает новые черты: нейтралитет; стремление ничем не вызвать раздражение Германии и Италии, укрепление «дружбы» с ними; анемичные отношения с западными державами в рамках объявленного нейтралитета; установление дипломатических отношений с СССР, потенциальным союзником «дружественной» Югославии Германии. Однако советско-финляндская война помешала осуществлению практических шагов Югославии с целью нормализации отношений с Советским Союзом. Обострение международной обстановки летом 1940 г., а также давление широких кругов югославской общественности заставили югославское правительство поторопиться с установлением дипломатических отношений с СССР, хотя еще в марте 1940 г. оно склонялось к идее ограничиться лишь налаживанием торгово-экономических связей. В своей политике

по отношению к СССР официальные круги действовали с постоянной оглядкой на Берлин. Если негативная реакция Рима в связи с урегулированием советско-югославских отношений в Белграде не вызвала удивления, то совершенно неожиданным для югославского правительства явилось «тихое негодование» гитлеровской Германии. Югославские дипломаты в Берлине были вынуждены убеждать германских представителей, что Югославия сотрудничает с СССР, лишь поскольку существует пакт между СССР и Германией, а премьер Цветкович заявлял, что, если придется выбирать между Германией и Советским Союзом, то он на стороне Германии.

Опасаясь вызвать недовольство Берлина, Югославия, по существу, ограничила развитие советско-югославских отношений экономической сферой. Со своей стороны, Советский Союз строил свою политику в отношении Югославии, стремясь не спровоцировать негативную реакцию Берлина. Стратегические цели СССР на Балканах состояли в том, чтобы не допустить вовлечения Югославии в войну, укрепить ее в решении оказать сопротивление Германии в случае возможного нападения. Однако связанный договором с Германией, Советский Союз играл лишь роль морального фактора, воодушевлявшего народ Югославии на борьбу за мир, против фашистской агрессии.

ПУШКАШ А. И., д-р ист. наук, ведущий науч. сотр. (ИСБ)

Когда готовилось нападение на Польшу, в венгерских дипломатических документах говорилось о нейтралитете Венгрии. После же начала войны речь уже шла о невоюющей стороне. Обсуждался вопрос о позиции Венгрии и в случае перерастания германо-польской войны в общеевропейскую.

3 сентября польский посланник в Будапеште Орловский отправил на родину свою последнюю информацию, где он сообщал о разговоре с министром иностранных дел Венгрии Чаки. Орловский заявил Чаки, что нападение на Польшу означает и потерю независимости Венгрии, в ее интересах оказать Польше всю возможную помощь, но так, чтобы не дразнить одновременно и гитлеровцев. Чаки ответил, что он это понимает, ибо в случае проигрыша Германии положение Венгрии тоже будет тяжелым, поскольку это угрожает восстановлением Чехословакии. Орловский также заявил Чаки, что Венгрия должна считаться с Польшей, ибо если Германия проиграет, то не Бенеш будет править Юго-Восточной Европой, а Польша, которая выберет себе союзника на юг от Карпат.

ЖЕЛИЦКИ Б. Й., д-р ист. наук, ведущий научн. сотр. (ИСБ)

Для понимания позиции Венгрии по ряду ключевых проблем европейской политики 1939—1940 гг., логики поступков высшего руководства страны в условиях готовящейся и начавшейся второй мировой войны следует, на наш взгляд, учитывать следующие факторы и обстоятельства, которые так или иначе детерминировали основные политические шаги как самого руководства, так и различных венгерских политических сил. Это, во-первых, геополитический фактор. Будучи малой страной, стремящейся выжить в разгоревшемся мировом пожаре, выйти из него с как можно меньшими потерями, Венгрия пыталась (впрочем, как и другие малые государства ЦЮВЕ) сохранить свой нейтралитет и по мере возможности сопротивляться германскому давлению. Отсюда политика «качелей» и лавирования, которая стала характерной для венгерского курса как в канун, так и на начальном этапе войны, да и позже, когда страна оказалась между двумя «жерновами» в условиях столкновения двух мировых держав — германского рейха и Советского Союза (в тех условиях венгерские господствующие классы в равной мере опасались как гитлеровского фашизма, так и сталинского «социализма»). Во-вторых, важным фактором являлось неуклонное стремление к возвращению хотя бы той части утерянных в результате Трианонского мирного договора территорий, которые были компактно заселены венгерским населением. Высшее политическое руководство Венгрии сделало в этом направлении

несколько конкретных шагов, что, в свою очередь, в данных исторических условиях не могло не иметь соответствующих последствий и не оказывать влияния на ориентацию внешней политики страны. Последствия империалистического диктата Версаля объективно толкали, таким образом, венгерское руководство в определенном направлении. Наконец, действенным фактором была также реальная расстановка основных политических сил страны, позиции и стремления их отдельных групп и представителей, что оказывало определяющее влияние на ход и возможное развитие событий, на формирование линии государственного руководства. Разумеется, в политической иерархии, на различных ее ступенях, были представлены самые различные течения и интересы, давали о себе знать различные стремления, имело место противоборство отдельных группировок или личностей в вопросах внешнеполитической ориентации страны, но в ключевых вопросах их цели и задачи в основном совпадали.

Особую остроту приобретал вопрос о том, в какой степени, до каких пределов следует пойти на уступки усиливающимся германским требованиям, как обеспечить в тех сложных условиях относительную самостоятельность и нейтралитет Венгрии. Характерно, что именно по этим вопросам определялся водораздел между сторонниками и противниками германской ориентации. Различные политические силы, группы и отдельные деятели придерживались той или другой позиции в зависимости от того, какое место они занимали в политической палитре страны.

На левом фланге стояли профсоюзы и Социал-демократическая партия, а также находившиеся в подполье коммунисты, позиции которых характеризовались ярко выраженной антифашистской направленностью.

Основные правительственные силы, определявшие главное направление политической ориентации, а также занимавшие политический центр либерально-буржуазные и религиозные партии, церковь и часть высшей знати были настроены в целом также антифашистски. Они побаивались и сторонились фашизма, но в равной мере пугались и коммунистической идеологии (о ней они получили в 1919 г. достаточно полное представление), по мере возможности препятствовали ее проникновению в страну и тормозили ее распространение. Все эти политические силы центра фактически стояли на либерально-центристских позициях и придерживались проитальянской и проанглийской внешнеполитической ориентации, добивались сохранения нейтралитета страны. Отдельные представители этих кругов неоднократно выражали свой протест фашизму (как, например, граф И. Бетлен, член парламента Э. Байчи-Жишински и другие, на некотором этапе к ним примыкал граф П. Телеки).

Крайне правые группировки и политические организации профашистского толка не пользовались в стране популярностью, были незначительной и малочисленной силой на венгерской политической сцене.

Вторым Венским арбитражем (30 августа 1940 г.) Германия положила конец политике лавирования и вооруженного нейтралитета, осуществлявшейся правительством Венгрии на начальном этапе второй мировой войны. Германия «утихомирила» и Венгрию, и Румынию, втянула их в орбиту своей политики, обеспечила себе возможность и в дальнейшем пользоваться их ресурсами.

ПУШКАШ А. И. По-видимому, необходимо определить позицию Венгрии в отношении советско-финляндской войны. Венгрия и Италия готовы были оказать Финляндии военную помощь. Готовились специальные отряды, которые планировалось перебросить в Финляндию. Но поскольку война продлилась недолго, этот план не осуществился. Возвращаясь к вопросу о позиции Венгрии в начале второй мировой войны, хочу отметить следующий факт: 45 тыс. поляков (некоторые с семьями) все-таки перешли через Карпатские перевалы в Венгрию. Венгры пропустили и разоружили эти войска. Впоследствии они находились в основном в лагерях в районе Комарно.

МАРЬИНА В. В. Хотела бы сказать о реакции в чешском и словацком обществе на советско-финляндскую войну. В широких слоях как

чешского, так и словацкого общества эта война сначала вызвала недоумение, а затем — резкое осуждение. В определенном смысле это было обусловлено и формальным отказом Советского Союза от поддержки планов чехословацкой эмиграции восстановления Чехословакии, что выразилось в установлении дипломатических отношений со Словакией, в приезде в декабре 1939 г. в Москву словацкого посла и ликвидации чехословацкого посольства. И все же официальные круги (Бенеш, Масарик и другие) продолжали занимать в отношении СССР выжидательную позицию, не желая, видимо, осложнить в будущем решение чехословацкого вопроса. Это, в частности, сказалось и в отказе («по техническим причинам») делегации чехословацкого Национального комитета участвовать в работе Совета Лиги Наций, обсуждавшего вопрос о советско-финляндской войне.

Любопытна оценка советско-финляндской войны, данная Бенешем в одной из его инструкций на родину в марте 1940 г. Он писал: «Советская военная кампания против Финляндии показала, если даже делать осторожные выводы, что СССР плохо ее подготовил, т. е. выбрал для нее плохое время с военной точки зрения. И что он просчитался, полагая, что Финляндия подчинится нажиму так, как это сделали другие государства под немецким нажимом. Советские военные операции против Финляндии не оправдали надежд и с военной точки зрения. Еще с момента вступления советских войск на территорию Польши раздавались критические голоса, касающиеся недостатков в организации советской армии, а также узкой и односторонней подготовки советского офицерского корпуса. Эти недостатки были также причиной неудач советских войск на финском фронте. С одной стороны, была малая армия, однако хорошо подготовленная, во главе с хорошим офицерским корпусом и защищающая свою землю с энтузиазмом. В то же время советская армия наступала без воодушевления и на всех ее действиях явно сказывались организационные недостатки и слабость командования. С трудом достигнутые успехи СССР оплатил огромными потерями».

Как воспринималась советско-финляндская война коммунистами? Прежде всего — не как локальный конфликт, а как начало столкновения между капитализмом и социализмом. В опубликованных в нелегальной газете «Rude pravo» материалах, в листовках оценки этой войны полностью соответствуют тем, которые в это время давались Коминтерном. Однако необходимо отметить, что точка зрения руководства компартий в большинстве случаев не совпадала с мнением и настроением как их рядовых членов, так и прогрессивно настроенного населения стран. Так, коммунист-журналист Райцен сообщал Готвальду, что распространены мнения о том, что СССР предал малые народы, разделил их с Германией.

Весной 1940 г., когда стало ясно, что успехи Германии на Западе неоспоримы, настроения чешской эмиграции вновь колебнулись в сторону Советского Союза (это, в частности, проявилось в попытках Бенеша восстановить чехословацкое представительство в Москве, наладить отношения разведывательных служб). В июле 1940 г. Бенеш высказал надежду, что в конце концов Советский Союз восстановит свое доброе отношение к Чехословакии и положительно отнесется к решению чехословацкого вопроса. Поворот различных слоев общества в сторону России наблюдается также в протекторате и в Словакии. В подпольной коммунистической печати однозначно — с позиций газеты «Правда» — давались оценки «воссоединения» с СССР Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины, поражения Франции.

ЖИГУНОВ Е. К., канд. ист. наук, ст. научн. сотр. (ИСБ)

Касаясь вопроса об оценках советско-финляндской войны, нельзя не привести высказывание Л. Д. Троцкого, по времени (13 марта 1940 г.) и по характеру почти совпадающее с цитировавшимся В. В. Марьиной высказыванием Бенеша. «Финляндская осечка, — писал Троцкий в Койоакане, — открывает в биографии Сталина главу упадка.

В дни вторжения Красной Армии в Польшу советская печать открыла внезапно великие стратегические таланты Сталина, будто бы обнаруженные им уже во время гражданской войны, и сразу провозгласила его сверх-Наполеоном. Во время переговоров с балтийскими делегациями та же печать изображала его величайшим из дипломатов. Она обещала впереди ряд чудес, осуществляемых без пролития крови, силою одних лишь гениальных комбинаций. Вышло не так. Не сумев оценить традицию долгой борьбы финского народа за независимость, Сталин полагал, что сломит Гельсингфорс одним дипломатическим нажимом. Он грубо просчитался. Вместо того, чтобы вовремя пересмотреть свой план, он стал угрожать. По его приказу „Правда“ давала обещание покончить с Финляндией в несколько дней. В окружающей его атмосфере византийского раболепства Сталин сам стал жертвой своих угроз: они не подействовали на финнов, но вынудили его самого к немедленным действиям. Так началась постыдная война — без необходимости, без ясной перспективы, без моральной и материальной подготовки, в такой момент, когда сам календарь, казалось, предостерегал против авантюры.

Замечательный штрих: Сталин даже не подумал, по примеру своего вдохновителя Гитлера, выехать на фронт. „Кремлевский комбинатор“ слишком осторожен, чтобы рисковать своей фальшивой репутацией стратега. К тому же лицом к лицу с массами ему нечего сказать. Нельзя даже представить себе эту серую фигуру с неподвижным лицом, с желтоватыми белками глаз, со слабым и невыразительным гортанным голосом перед лицом солдатских масс, в окопах или на походе. Сверх-Наполеон осторожно остался в Кремле, окруженный телефонами и секретарями.

В течение двух с половиной месяцев Красная Армия не знала ничего, кроме неудач, страданий и унижений: ничто не было предвидено, даже климат. Второе наступление развивалось медленно и стоило больших жертв. Отсутствие обещанной „молниеносной“ победы над слабым противником было уже само по себе поражением. Оправдать хоть до некоторой степени ошибки, неудачи и потери, примирить хоть задним числом народы СССР с безрассудным вторжением в Финляндию можно было только одним путем, именно — завоевав сочувствие хотя бы части финляндских крестьян и рабочих путем социального переворота. Сталин понимал это и открыто провозгласил низвержение финляндской буржуазии своей целью: для этого и был извлечен из канцелярии Коминтерна злополучный Куусинен. Но Сталин испугался вмешательства Англии и Франции, недовольства Гитлера затяжкой войны и — отступил. Трагическая авантюра заключилась бастардным миром: „диктатом“ по форме, гнилым компромиссом по существу.

При помощи советско-финляндской войны Гитлер скомпрометировал Сталина и теснее привязал его к своей колеснице. При помощи мирного договора он обеспечил за собой дальнейшее получение скандинавского сырья. СССР получил, правда, на северо-западе стратегические выгоды, но какой ценой? Prestиж Красной Армии подорван. Доверие трудящихся масс и угнетенных народов всего мира утеряно. В результате международное положение СССР не укрепилось, а стало слабее. Сталин лично вышел из всей этой операции полностью разбитым. Общее чувство в стране, несомненно, таково: не нужно было начинать недостойной войны, а раз она была начата, нужно было довести ее до конца, т. е. до советизации Финляндии. Сталин обещал это, но не исполнил. Значит, он ничего не предвидел: ни сопротивления финнов, ни морозов, ни опасности со стороны союзников» (*Троцкий Л.* Сталин после Финляндского опыта. — В кн.: *Троцкий Л.* Портреты. Нью-Йорк, 1984, с. 91—94).

СЛУЧ С. 3. Первый из договоров с Прибалтийскими государствами был подписан в тот же день, что и договор о дружбе и границе с Германией. В тактическом плане первый этап процесса их включения в состав СССР был связан именно с навязыванием договоров, ограничивавших суверенитет этих стран, с размещением здесь военных контингентов. На переговорах с министром иностранных дел Литвы Сталин, настаивая на

необходимости присутствия здесь 30-тысячного контингента, убеждал своего собеседника в том, что советские войска будут для Литвы реальной гарантией независимости: «Наши гарнизоны помогут Вам подавить коммунистическое восстание, если оно произойдет в Литве».

Второй этап ликвидации суверенитета Прибалтийских государств начался в момент наибольшей занятости Германии в ходе западной кампании. К этому времени изменяется и позиция советского руководства по вопросу о нейтралитете малых стран. 16 мая 1940 г. «Известия» писали в передовой статье (имевшей отношение не только к Прибалтийским государствам, но и ко всем странам ЦЮВЕ): «Что касается малых стран... то последние события еще раз подтвердили, что „нейтралитет“ малых стран, за которым нет реальной силы, способной обеспечить этот нейтралитет, является ничем иным, как фантазией. Всякие рассуждения о правомерности или неправомерности действий в отношении малых стран, когда великие империалистические державы ведут войну не на жизнь, а на смерть, могут быть только наивными». 15 июня после предъявления ультиматумов правительствам Литвы, Латвии и Эстонии этот вопрос был решен не в пользу сохранения даже ограниченного суверенитета этих государств. Однако подобное развитие событий не являлось неожиданностью для Германии. Свидетельством этому может служить красноречивая запись в дневнике Геббельса: «Литва, Латвия и Эстония перешли, или лучше сказать, переведены в состав Советского Союза. Это наша цена за нейтралитет России».

ГИБИАНСКИЙ Л. Я. Практически в войне, которую начал Советский Союз против Финляндии, все было запрограммировано изначально той кампанией, которая была проведена против Польши. Хочу в этой связи напомнить, что при обсуждении 31 октября на V Внеочередной сессии Верховного Совета доклада Молотова о внешней политике Советского Союза выступил только второй секретарь Ленинградского обкома и горкома партии А. А. Кузнецов, который предложил не проводить прений по докладу, поскольку есть только одно предложение — полностью одобрить внешнюю политику правительства. При этом Кузнецов высказал следующие принципиальные положения: «Заклучение пактов о взаимопомощи между СССР, Эстонией, Латвией и Литвой обеспечивает надежную оборону как Советского Союза, так и самих Прибалтийских стран. Эти договоры служат действительному укреплению дела мира. Тем более непонятным становится поведение правящих кругов Финляндии, которые до сих пор тормозят заключение договора между СССР и Финляндией. Я не знаю, на кого рассчитывают представители этих правящих кругов. Нам хорошо известно, что кое-какие правительства в Европе тоже на кого-то рассчитывали, надеялись, даже имели гарантии, но что из этого получилось, также хорошо всем известно. Таким образом, было обозначено, что если дипломатическими средствами не удастся вынудить правительство Финляндии согласиться на требования, выдвинутые советской стороной, то в таком случае будет иметь место то, что случилось 17 сентября с Польшей.

СЛУЧ С. З. Несколько слов о стратегической линии Германии. Еще в ходе французской кампании по различным каналам шел активный зондаж в Великобритании так называемой «квивлендской группы» по поводу возможности заключения соглашения с Германией на условиях предоставления ей свободы рук в континентальной Европе и сохранения Британской империи (даже выделения сил для ее охраны). Одновременно в конце мая 1940 г. группой консерваторов во главе с Чемберленом на Черчилля был оказан серьезный нажим в плане возможности заключения соглашения с Германией. Последний этап в этой стратегии — выступление Гитлера в рейхстаге 19 июля, когда он обратился с далеко идущими предложениями к Великобритании.

Параллельно прорабатывались и другие варианты выведения Великобритании из войны (в частности, операция «Морской лев»). Гитлер ста-

вил себе в заслугу поиски возможности ведения войны на одном фронте, поскольку уже 2 июня (в беседе с Йодлем) он определяет следующим этапом агрессии Россию. С начала августа предпринимается попытка бомбардировками принудить Англию к капитуляции. На совещаниях 21 и 31 июля с высшим военным и политическим руководством Гитлер формулирует идею разгрома Советского Союза. Причем, понимая, что незавершенность войны на Западе вызовет недовольство этим планом со стороны высшего военного руководства, он обосновывает свою позицию следующим образом: Советский Союз и Англия остались на континенте без союзников; единственная надежда Англии теперь — Советский Союз, разгром которого поставит на колени и Англию.

ЕРЕЩЕНКО М. Д., канд. ист. наук, ст. научн. сотр. (ИСБ)

Начало второй мировой войны застало румынское правительство связанным определенными обязательствами перед Польшей и западными странами. Официально объявив нейтралитет в первые же дни войны, оно фактически отказалось от выполнения своих договорных обязательств. В Бухаресте пытались объяснить принятое решение желанием избежать «осложнений с соседними странами». Фактически же тактика «игры на двух столах» европейской дипломатии уступала место прогерманской ориентации.

С конца 1939 г. официальные круги Румынии неоднократно пытались прозондировать в европейских столицах возможность получить защиту в случае угрозы территориальных притязаний со стороны Венгрии, Болгарии и особенно Советского Союза, в отношениях с которыми доминировали спорные территориальные вопросы. В этой связи весьма показательным был зондаж румынской стороны по поводу ставшего ей известным настораживающего факта, что 5 декабря 1939 г. первый заместитель наркома иностранных дел Потемкин в беседе с французским послом в Москве обратил внимание последнего, что без возвращения Бессарабии Одесса — «мертвый порт» и что в новых международных условиях советское правительство к этой проблеме не может относиться безучастно.

Зимой 1940 г. румынское правительство проводило, и безуспешно, переговоры с Турцией относительно ее согласия оказать помощь в случае «русской угрозы». Такие же переговоры в Риме с министром иностранных дел Италии Чиано закончились подписанием в марте 1940 г. совместного соглашения. Итальянское руководство рекомендовало Румынии проявлять «твердость» в отношениях с СССР и обещало оказать ей «полную поддержку» ради сохранения «первого барьера против большевизации Балкан».

Как «угрожающий симптом» было воспринято в МИД Румынии заявление Молотова на сессии Верховного Совета 29 марта 1940 г.: «У нас нет пакта о ненападении с Румынией. Это объясняется наличием нерешенного вопроса, вопроса о Бессарабии, захват которой Румынией Советский Союз никогда не признавал, хотя и никогда не ставил вопроса о возвращении Бессарабии военным путем». В течение двух последующих дней представители румынского руководства неоднократно встречались с членами германской миссии в Бухаресте в расчете получить успокоительные заверения в обмен на подтверждение курса на румыно-германское сотрудничество. На заседании румынского правительства 15 апреля Кароль II заявил, что Румыния должна присоединиться к «политической линии Германии» и предложил руководствоваться этим намерением в переговорах с Берлином.

Поражение Франции произвело шоковую реакцию на Бухарест. В течение недели румынские правящие круги завершили подготовку и подписали с Германией так называемый «нефтяной пакт», который обязывал Румынию сразу на треть увеличить поставки нефти рейху. Румынский король не говорил больше о нейтралитете страны. МИД Румынии подготовил меморандум, в котором румынское правительство сообщало о своем желании развивать с Германией «тесное сотрудничество... не только в экономической, но и во всех прочих областях». Все точки над

«i») были поставлены во втором меморандуме, составленном лично Каролем II для Гитлера и переданном 20 июня 1940 г. Румыния окончательно связала свою судьбу с Германией.

В этих условиях СССР не стал больше откладывать решение бессарабского вопроса. 23 июня 1940 г. Молотов передал через германского посла советское заявление германскому руководству о стремлении Советского Союза «разрешить бессарабскую проблему, не прибегая к силе, мирным путем...». Одновременно был поставлен вопрос и о части Буковины с преимущественно украинским населением. Молотов выразил уверенность, что германское руководство поддержит действия СССР, и в свою очередь обещал, что «советское правительство сделает все от него зависящее, чтобы обеспечить интересы Германии в Румынии». И в беседах в Москве, и при рассмотрении советского заявления в Берлине стороны ссылались на содержание секретного протокола к советско-германскому пакту от 23 августа 1939 г.

В ответ на советское обращение Гитлер передал по телефону инструкции германскому послу в Москве: сообщить Молотову, что Германия сохраняет приверженность московским договоренностям и «не проявляет никакого интереса к проблеме Бессарабии»; германская сторона обращает внимание лишь на судьбу проживающих на этой территории примерно 100 тыс. немцев и надеется, что их будущее будет гарантировано, а также на проблемы Буковины, которая «в прошлом была частью Австрийской короны» и также имеет немецкое население, к судьбе которого Германия проявляет интерес. По остальным проблемам советско-румынских переговоров по Бессарабии Германия обещала действовать «в духе московского договора и советовать Румынии добиваться мирного разрешения бессарабского вопроса в соответствии с русскими условиями». Германский МИД настаивал, чтобы Шуленбург подтвердил Молотову, что Германия «особо заинтересована в том, чтобы Румыния не стала театром военных действий».

Практически в этих консультациях между Москвой и Берлином в 20-х числах июня 1940 г. все основные сложности вопроса о Бессарабии были разрешены, заодно выяснены советской стороной и позиции Берлина относительно Северной Буковины. 26 июня, через час после переданного Шуленбургом германского ответа, Молотов принял румынского посла в СССР и вручил ему ноту правительства Румынии о необходимости немедленного решения бессарабского вопроса, поставив условием, чтобы в течение четырех дней, начиная с 28 июня, румынские войска очистили территорию Бессарабии и Северной Буковины. Румыния в июне 1940 г. была последней уступкой со стороны Гитлера Советскому Союзу и последней политической акцией по реализации пакта Молотова — Риббентропа.

ПУШКАШ А. И. Думаю, что определенный интерес может представлять оценка советской внешней политики середины 1940 г., данная в донесенном от 11 июля венгерского посланника Криштофи из Москвы в Будапешт. Этот обобщающий материал (озаглавленный «Венгрия и Советский Союз») был составлен Криштофи на основе его бесед с Молотовым и другими представителями НКВД. В частности, Криштофи сгруппировал высказанные Молотовым позиции по советско-венгерским отношениям: «У Советского Союза нет никаких требований в отношении Венгрии... Советское правительство считает венгерские территориальные притязания к Румынии обоснованными и готово их поддержать на мирной конференции, если бы туда вынесли такой вопрос... В случае эвентуального венгеро-румынского конфликта поведение Советского Союза вытекало бы из позиции, занятой в отношении венгерских требований... С целью заключения торгового соглашения советское правительство готово начать переговоры в самое ближайшее время». И далее: «Из этих обобщенных сообщений, — писал Криштофи, — можно сделать выводы, что советское правительство намерено отойти в отношениях с Венгрией от прежней сдержанной позиции, ... согласно наполнить их со своей сто-

роны новым внутренним содержанием... Немецко-советские отношения идут гладко, но с подозрениями... Советское правительство радо бы видеть венгерско-румынский конфликт, поскольку он мог бы помешать германским интересам. Теперь можно только к этому дополнить то, что советское правительство надеялось в этой заварушке осуществить территориальные притязания за счет Румынии... От младших работников немецкого посольства я слышал утверждение, что советское правительство не может отказаться от Закарпатья, ибо пока часть украинского народа живет за советскими пределами, до тех пор украинский вопрос окончательно не закрыт. И они попытаются это сделать, как только венгры окажутся в тяжелом положении... В любое время советская внешняя политика, поскольку она не имеет моральной основы, может изменить свое направление».

ВОЛКОВ В. К. Завершая дискуссию, считаю необходимым напомнить всем ее участникам, что наш следующий «круглый стол» хронологически будет охватывать период с сентября 1940 г. по 22 июня 1941 г.



ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Изучение явлений культуры обогащается все новыми подходами. Обнаруживаются новые их срезы, на которые ранее по традиции мало обращалось внимания. Один из них — срез в буквальном смысле слова, т. е. граница, раздел между составляющими культурный феномен. Граница, о которой М. М. Бахтин пронизательно заметил, что она — есть зона, где проходит наиболее напряженная и продуктивная жизнь культуры [1], разделяет и смыкает культурные эпохи и отдельные сферы культуры во времени и пространстве. Она чрезвычайно значима и для отдельных текстов культуры. Через пространство культуры, как и через пространство отдельного текста, проходит не единственная граница. Она не однажды рассекает текст. Их множество, и они, взаимно пересекаясь, очерчивают поле культуры, подобно изоглоссам на лингвистической карте. Границы не абсолютны, они не заданы раз и навсегда и могут менять свое направление, иначе делить пространство. Их динамическое взаимодействие порождает специфику текста культуры и определяет потенциальные возможности его развития.

Анализ этой категории культуры представляется чрезвычайно продуктивным. Возможно определить границы художественных высказываний и их смыслов, так же как и лингвистических высказываний, без чего анализ текста как культурного явления неполон. Много может дать исследование взаимодействия жанров, чьи контуры пересекаются в пределах одного произведения. Применяя понятие границы, мы достигнем более точного описания, вскроем механизм жанровой системы, который является важным показателем типа культуры. Продуктивно введение категории границы и в решении такого вопроса, как соотношение автора и героя, значимого не только для изучения литературы, изобразительного искусства, но и для определения культурно-антропологических параметров. Огромное значение она приобретает при рассмотрении культурного пограничья, при изучении взаимодействия различных культур.

Границы в культуре не только соблюдаются, что типично, например, для эпохи классицизма, для социумов, ориентированных на самоизоляцию, для некоторых видов соотношения автора и героя, когда автор находится на границе создаваемого им художественного мира. Границы могут и целенаправленно нарушаться, что плодотворно для жизни культуры. Это могут быть временные границы, границы эпох, стилей, языков культуры. Возможно и принципиальное колебание, моментальное пересечение границы и возврат в прежнее состояние, что характерно, например, для культуры романтизма [2].

Итак, как в пределах, очерченных границами, так и на самих границах, рождается новая жизнь культуры. Это происходит постоянно и притом на всех уровнях культуры. «Внутренней территории у культурной области нет: она вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце отражается в капле ее» [3].

*СОФРОНОВА Л. А., д-р филол. наук,
зав. сектором историко-культурных проблем ИСБ*

ФУНКЦИЯ ГРАНИЦЫ И ОБРАЗ «СОСЕДА» В СТАНОВЛЕНИИ
ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
(РУССКО-БАЛТИЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА)

1. Определение семантической мотивировки слов ценно прежде всего не для этимологических разысканий как таковых, а в связи с возможностью выяснения того, как в данном языке, в данное время и в данном месте понималось это слово, или иначе говоря, какой семантический образ слова был актуален для данных условий (разумеется, нельзя отвергать возможности сосуществования двух или более образов одновременно, но в случае, рассматриваемом здесь, предпочтение отдается мотивировке, которая продолжает быть актуальной и в настоящее время).

Непосредственные, «первичные» функции границы носят двоякий характер. С одной стороны, граница (русск. *граница* праслав. **grānīca*) ограничивает, замыкает, защищает нечто; она очерчивает в принципе гарантированное убежище для того, что внутри, для «своего». В этом смысле граница — понятие эндоцентричное, определяемое и оцениваемое изнутри, из некоего максимально удаленного и безопасного центра. В той мере, в которой граница ограничивает и замыкает «свое», она отделяет-разъединяет это «свое» от «чужого», подобно стене (ср. лит. *siena* 'граница', но и 'стена' родственно праслав. **stēna*) или другим образам препятствия (ср. *рубеж* < **robežь*, порубленный лес как граница-препятствие). С другой стороны, граница отсылает-ведет к тому, что вовне, к «чужому», как бы сводит «свое» на нет, по мере приближения к «чужому», подобно острию (ср. *грань* < праслав. **granь* и под. как граница, но и как край, угол, обрез, ребро, игла и т. п., ср. возможные германские параллели), роль которого не столько в завершении того, что кажется острием, углом, сколько в задании направления движения изнутри вовне («экзоцентрическая» установка), в векторной его функции. Для огромного исторического периода, когда граница не превратилась еще в сплошную, охраняемую на всем ее протяжении линию (это «изобретение» — достояние относительно недавнего времени; возникнув в наилучшие времена, оно прочно утвердилось и в наилучших местах, хотя и «хорошие» места вынуждены его использовать как ответ на реальные угрозы), границей, собственно, и были точки скрещения двух линий — идущей изнутри «своего» вовне и идущей изнутри «чужого» вовне (ср. сцену в корчме на литовской границе [М и с а и л. Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и граница Литовская, до которой так хотелось тебе добраться.— Г р и г о р и й. Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.— В а р л а а м. Что тебе Литва так слюбилась? ... Литва ли, Русь ли, что чудак, что гусли...] и объяснения хозяйкой пути в Литву, к Луёвым горам и легкого альтернативного «обхода» этой столбовой дороги, охраняемой в данный момент стражей). Иначе говоря, в этом втором случае граница определяется точкой схождения-пересечения двух направлений («своего» и «чужого»), сходящихся на нет при неблагоприятных обстоятельствах и, напротив, сводящих «свое» с «чужим», открывающих друг другу путь внутрь себя при благоприятных условиях.

Эта вторая функция границы — повернутость к «другому», открытость, положение лицом к лицу, вовне-вперед, но не агрессивно, а с целью взаимного общения — также отражается во внутренней форме соответствующих слов для обозначения границы (ср. франц. *frontière* при лат. *frons* 'лоб', 'чело', 'лицо', 'внешний вид', 'наружность', 'передний край' и т. п.), хотя в критической ситуации эта мотивировка, оставаясь сама собой, может менять оценочные акценты. Но обычно, особенно при положительной ситуации, граница — знак и символ отомкнутости-открытости, встречности, шанса на спасение не укрыванием в самой глубине «своего» внутри как в убежище, где ты как бы невидим другому — недоброжелателю и противнику, но наоборот, шагом навстречу, открытием себя другому, с чем связан добровольный выход из «невидимости». В этой ситуа-

ции складывается иная презумпция относительно «чужого»: другой — друг (хотя бы потенциальный), а не враг; во всяком случае получает преобладание установка на доброго соседа, в идеале — друга, а через это и на некое общее доброе дело — «со-дело» (ср. *so-sed* < *sǫ-sědъ).

В зависимости от этих двух функций границы, которые, строго говоря, не что иное как две полярные ипостаси одной и той же идеи общения-контакта «своего» с «чужим», определяются два стремления, две установки — или сделать границу сплошной, непроходимой, закрытой на замок и считать появление «чужого» на своем «священном» пространстве поруганием его, или исходить из относительного условного и гибкого понимания границы, делая акцент на точках схождения двух «острий», где одно не поражает другое, а образует своего рода зону перехода (естественно более узкую, чем вся граница, и, разумеется, так или иначе контролируемую), двух направлений, двух путей, при том, что эти точки образуют центры активного, двустороннего и взаимовыгодного общения.

Нужно заметить, что «большая и прочная» круговая граница, свойственная эпохе государственных образований, составляет лишь самый внешний круг целой серии более узких «концентрических» границ, как бы вложенных одна в другую. И речь идет здесь не об отдельных частях этих государственных образований (эта ситуация «концентричности» редка и лишь частично может воспроизводиться в агрессивных государствах с имперскими амбициями, в которых центр — «свои», периферия — «чужие», но рассматриваемые центром как «свои», хотя и не вполне «полноценные»), но о существовании более узких границ совсем иного плана — городская стена или вал, которая тоже не только изолирует и охраняет, но и открывает (т. е. выводит из изоляции), приглашает к контактам, связывает общим делом (ср. обычай устройства ярмарок, встреч, праздничных гуляний и т. п. «своих» и «чужих» именно у городских ворот, иногда с выделением двух стадий — у ворот в не стены и у ворот в пределах стены); забор, ограда и ворота, калитка «своего» участка — именная (ср. пункты схождения «соседом» на «границе»: «квази-калитка», лаз, пролом в заборе, общий колодец на границе участков, разговор через ограду и т. п.); двери дома (отчасти и окна, о чем см. в другом месте), сам порог, который вместе с «сердцевиной» дома или храма («священный» центр, также отмеченный границей), принадлежит к ритуально и символически наиболее маркированным элементам пространства обитания.

Более того, как весь народ и усваиваемое им себе реально или идеологически пространство, так и отдельный человек вовлечен в сферу «граничного», включен в характерную для этого «граничного» игру открывания и замыкания. Речь идет не только о чисто биологических, физиологических механизмах, осуществляющих защиту («закрывание») человека от угроз извне (мнимых или реальных) и внешние контакты («открывание»), соответственно — отталкивание и притяжение (ср. органы чувств, «окна» тела), и не только о социальных механизмах этих же двух типов, реализуемых в личном социальном статусе, в положении в семье, роде, дружеском, профессиональном, корпоративном, конфессиональном и т. п. круге и охватывающих как отдельных людей, так и более обширные общности вплоть до народа или союза народов, но и в выборе чисто психологической позиции — быть в «укрытии» (как господин Прохарчин, для которого важнее не дать другим информацию о себе, нежели получить ее о других), или быть в таком «открытии», когда информация о других так важна, что решительно перевешивает факт «информационного» раскрытия себя другим (более того, это последнее часто тоже делается не просто в силу необходимости, но добровольно, сознательно, с надеждой на положительный эффект).

Таким образом, граница, трактуемая как определенная категория ориентации человека в мире — природном и культурном — и в самом себе, является подвижным, динамичным и, главное, универсальным понятием. Граница проходит в разных, многих и нередко неожиданных местах и направлениях. В наиболее сложных, ответственных и чреватых

жертвами ситуациях человек не имеет права отказываться от выбора; нужно помнить, что именно человек должен добровольно и сознательно осуществить этот выбор: хуже, когда граница «выбирает» человека, жестко детерминируя его позицию. Граница обычно неудобное место, она содержит максимум неопределенности, с нею связаны опасности, угрозы, страхи, поражения. Но она открывает и положительные возможности, предоставляет шансы, с нею только и может быть связан наибольший выигрыш, и один из главных — осознание того факта, что сама эта граница ограничена условиями места, времени, жизненных, исторических и иных обстоятельств. Поэтому в принципе граница может быть раздвинута, перенесена или вовсе снята. И когда это делается с благими целями, граница ведет в мир открытости и взаимодействия, способствуя диалогу, открывает «своему» «чужое» и наоборот. Дурные цели ведут к бессмысленному умножению границ, их сужению, безблагодатному отъединению от «другого», «других», и, значит, от целого. В частных случаях это вызывается исторической и жизненной необходимостью (или только представлением о ней) и дает дополнительные гарантии данному этническому, культурному, социальному организму или отдельному человеку. Но в масштабах «макроистории» такое движение должно восприниматься именно как частное, временное, относительное. То же с соответствующими поправками относится и к человеку.

Нельзя забывать, что историософская телеология и конкретная история человечества, особенно в XX в., предполагают гигантски возрастающую роль информации. Как существо, преодолевающее свою объектность, человек, конечно, живет не хлебом единым (хотя предполагается, что хлеб — основное и главное: сначала хлеб, потом то, что сверх хлеба). Сейчас более оправдан другой девиз — человек жив информацией: у владеющего ею надежнее всего будет и хлеб. Эта установка на информацию предполагает не только себя (преимущества такой односторонней позиции могут быть лишь временными), но и другого, в принципе всех. Именно поэтому необходима циркуляция информации, ее обмен и ее селекция. Эти процессы все в большей и большей степени сближают, соединяют, завязывают новые узлы разумного и духовного, придают старому понятию границы новый смысл. Граница уже не только (и, может быть, не столько) та периферия, где «свое» и «чужое» сходятся на нет и повернуты друг к другу неудобными «углами» или враждебными «остриями» (**gran-*), но связь, переход, средостение, сердцевина, центр. Здесь приходит в рост побег, ветвь (**gran-*), здесь прядется пряжа (**gran-*), здесь творится самое главное: история, как и сама жизнь, все больше и больше начинает работать на этих границах, гранях, стыках, делая ставку именно на них. Граница из периферии становится серединой, центром, что подтверждается и семантической мотивировкой некоторых обозначений границы (ср. *межа* < и.-евр. **medh-i*-‘середина’, ‘средний’, ‘посредствующий’ и т. п., ср. др.-инд. *madhya-*, др.-греч. μέσος, лат. *medius*, готск. *midjis* и т. п. — вплоть до *между*, знака промежуточности, перехода). В этом контексте понятие границы апеллирует не столько к разграничению и ограничению, сколько к срединной абсолютности, всеобщей связанности многого и разного на потребу единого и главного, которым может быть только целое.

Этот общий контекст должен быть, конечно, принят во внимание и при рассмотрении конкретной проблемы балто-славянского соседства, границ двух этих этносов, их отталкиваний и притяжений, диссоциаций и ассоциаций. Нужно не упускать из вида, что именно в этой сфере границы менялись особенно многократно и динамично. В разное время и в разных местах обширной Балто-Славии они проходили по-разному и, главное, имели совершенно разный характер. Восстановить в деталях эти границы не сможет ни один историк или лингвист, ибо граница между балтийским и славянским проходила не только в пространстве и времени, но и через один народ, одну культуру и даже через одного человека, который рано был и балтом и славянином и в разных обстоятельствах мог по-разному актуализировать свою этническую, культур-

ную, языковую ипостась, подобно тому, как в более позднее время одни и те же люди, города, деревни могли выступать и как «литовские» и как «русские» (ср. такое образование, как Литовско-Русское государство). Отграничение одного элемента от другого для известного периода возможно лишь в самых простых случаях.

Сказанное не означает, что все эти границы, так понимаемые, не должны изучаться. Напротив, их изменчивость и запутанность требуют особенно внимательного подхода к ним, хотя бы в тех случаях, о которых есть некоторая ранее не привлекавшая к себе внимания информация. И здесь на помощь приходит этническое, культурно-историческое, религиозное, языковое самосознание. Оно само разными средствами выводит наружу те или иные «вторичные» признаки стершихся до исчезновения «первичных» границ. Один из важнейших таких признаков — образ «соседа», формируемый в каждой из соседящих традиций. Применительно к балто-славянской ситуации это не просто соседство, но «повсюду-соседство», «проникающее внутрь соседство», цепь «чередующихся», многократно воспроизводящихся соседств.

II. Семья, род, племя, народность, народ, нация — категории сложные по самой своей исходной идее и по главной цели, выдвигаемой ими перед собой, со своей собственной телеологией. Эта сложность существует с самого начала и имеет тенденцию к еще большему, нередко роковому возрастанию. Это и понятно, потому что все обозначенные здесь «единства» имеют самое актуальное и самое жизненное содержание — обеспечение данному единству людей жизни — ее возникновения, сохранения, воспроизведения в череде следующих друг за другом поколений. В этой сверхзадаче объединяются силы природы и культуры, и, когда это объединение органично, жизнь «переносится» из поколения в поколение, из прошлого в будущее, «тело» единства сохраняется и возрастает. Каждое из этих объединений — от семьи до народа или даже их союза — имеет как природно-естественный, так и культурно-исторический аспект и соответствующие нужды и цели. Ни одно из условий, обеспечивающих подобным единствам *modus vivendi*, нельзя считать ни печальным пережитком былой темноты, ни досадной помехой на пути к «светлому будущему», ни, наконец, тем, с чем поневоле приходится до поры мириться. И семья и народ, как бы ни менялись их формы, для нашего исторического фона явления не только органически укорененные во всем нашем бытии, но и необходимые, плодотворные, истинно творческие и по исходному замыслу, и по своим целеполагающим смыслам, хотя и чреватые опасностью: порча может поражать многое в них, отравлять чистые родники и, подобно беснующейся метели, сбивать с подлинного пути.

Но сложность проблемы, имеющаяся обычно и в одной семье или в одном народе, во всей своей силе и опасности выступает тогда, когда речь идет о многих и разных семьях и особенно народах. Исторически, в силу прав наследования, разных природно-естественных и социально-культурных условий каждый народ — осознанно, полусознанно или неосознанно — несет свою идею, свой мир представлений и о себе и о другом. И поэтому эти естественные и даже необходимые различия своего и чужого на фоне бесспорно общих задач жизнеобеспечения становятся предлогом, почвой, местом, где начинаются несогласия, различия, споры и ссоры. Обе эти стороны — единство потребностей разных этносов как отдельных членов общечеловеческого тела и различие их же, потому что каждый этнос все-таки особый член этого тела, — е с т е с т в е н н ы. Единство-согласие и многообразие-разногласие в этой сфере столь же естественны, сколь и н е о б х о д и м ы, но не только потому, что все заранее определено и иного выхода нет, но и в ином, высшем, провиденциальном смысле. Сочетание единого и разного как раз и ведет каждый народ в кругу других народов к тому, чтобы «природный» детерминизм бытия все более эволюционировал к ситуации свободного выбора и доброй воли — к тому, что делает народ новой категорией иного, более высокого нравственного уровня — пресуществляет его в **народ-личность**. Согласие, сознание единства общечеловеческих интересов на этом пути

охранительны и положительны. Различие-разногласие, если оно не выходит за известные пределы, служит иной, но тоже благой цели — оно дополняет разные частные варианты жизненного опыта до целого, углубляет самую идею согласия, обогащает ее содержанием, учит такту и внимательности при общении своего и чужого, осваивает это чужое и открывает для чужого возможность понять себя, свое. Понять — простить, а простить — принять в свое сердце. В этой широкой перспективе каждый народ, всякий опыт бытия народа **д о п о л н и т е л ь н** по отношению к другим народам и их частным опытам. Эта дополнительность и отсылает в конце концов к идее человечества в целом и служит своего рода механизмом обратной связи в отношении между народами, в проверке истинности-ложности «монологических» заключений и решений, без обращения к другому — сначала ближнему, соседу, а потом и дальнему.

III. Слова *род, народ, нация* и т. п. (косвенно и *племя*) этимологически отсылают к идее **рождения**, к тому действию, которое приводит к «физическому» возникновению этих единств. Русск. *род, родить*, как и *родня, родина, урожай* и т. п., связаны с балт. и индо-иран. **rad* 'находить', 'открывать' (т. е. 'обнаруживать' и 'обнаруживать себя', 'являться'), 'рождать') и восходят к соответствующему и.-евр. корню. Родня, род, народ вызваны к существованию актом нахождения-открытия своего **ф и з и ч е с к о г о т е л а**, рождением. Но нет семьи, рода, племени, народа, которые не **с о з н а в а л и** бы своего единства как тесноты актуальных связей, объясняемых единым-общим рождением. Это самосознание себя, своего единства и его причины образует как бы нахождение-открытие своего **д у х о в н о г о т е л а**, второе рождение, в котором «телом» становится дух. Обращение к языку опять позволяет открыть-найти («родить») связь, иначе почти не видимую, между знанием и рождением — и.-евр. **gen-* равно относится и к знанию (лат. *gnosco*) и к рождению (лат. *genus*). Эти два рождения лежат в основе любого этнического самосознания, сознания себя, своих корней, образа своей чаемой судьбы и, конечно, условий своего существования — места, обстоятельств, обычаев, веры, языка, хотя характер связи (в частности, «жесткость» — «гибкость» ее) этнического самосознания с этими условиями может быть разным — от фетишизма до самоубийственного в иных обстоятельствах нигилизма.

Самосознание этноса почти всегда предполагает сознание себя в виде некоего множественного единства, самосознающего этнического **Я** (*себя* как «возвратная» ипостась **Я**), с чем обычно связано устранение резких индивидуальных отличий, выравнивание, усреднение, унификация («все как один»), тенденция к синекдохе («русскому свойственно...»). От разных обстоятельств зависит, что возобладает в этом этническом **Я** — единство личности или единство стадности. В частности, это зависит от характера усвоения этим **Я** того, что он делает **з н а к о м** себя, символом, эмблемой — своя земля, свой обычай, своя вера, свое социальное устройство, свой язык. Все эти реальности, идеологизируясь, становятся как бы знаком принадлежности их к **Я** (а не **Я** к ним, как было в исходном состоянии), всего лишь владельческими **Я**, поставленными на них без того, чтобы предварительно услышать их голос. В этой авторитарности кроется зародыш нарушения экологического и социального равновесия в будущем, первый признак дефектности «этнического» **Я**. Рождение, открытие, познание такого **Я** почти неизбежно предполагает открытие **д р у г о г о**, прежде всего ближайшего соседа в «этносе» (речь идет, естественно, не о языковых и культурных связях, а об актуальности *дружого* для **Я** с точки зрения главнейших задач жизнеобеспечения и гарантий этого **Я**). Каким открывается для «этно-**Я**» этот другой — как нейтральный, безразличный фон, как враг и «вредитель» волшебной сказки или как некоторый дополнительный ресурс в решении своих же основных задач, может быть, потенциальный союзник и даже друг, — от этого зависит очень многое, как многое зависит и от способности к обучению в этой области, к умению сохранять равновесие даже в неблагоприятных условиях, к диалогическому общению, предполагающему уже выход за пре-

дела Я-языка и Я-логики и хотя бы потенциальную прикосновенность к Ты-языку и Ты-логике (единственное не только невозбранное, но и безусловно положительное вторжение в «чужую» сферу).

IV. Самосознание «этнического» Я подобно неинтерпретированному логическому исчислению, пока оно не введено в ситуацию присутствия «этнического» *другого* и связей с ним, хотя бы в форме полного отталкивания или «псевдосвязи». Характеристики со стороны данного этноса этого *другого* наиболее прямой и в силу своей предельной субъективности ценный (наряду, конечно, с автохарактеристиками) источник представлений о сознании себя и другого со стороны Я, особенно в условиях непосредственно не наблюдаемой ситуации.

С подобной ситуацией сталкивается исследователь, когда он ставит перед собой задачу изучения образа «литовца» и вообще «литовского» (шире — балтийского, т. е. латышского, латгальского, ятвяжского, голядского и т. п.) применительно к эпохе между рубежом I и II тысячел. н. э. и XVII в. в русском этно-культурном сознании. Но прежде уместно в самых общих чертах представить исторический фон и выделить тот пространственно-временной континуум, в который наиболее органично вкладывается «русский» образ «литовца». При колонизации восточно-европейского пространства славяне встретили балтов в огромном треугольнике, две стороны которого особенно существенны — северо-восточная (Псков-Рязань) и юго-восточная (Рязань-Чернигов); это определение границ, конечно, слишком общо и лучше было бы говорить о дуге, достаточно детально прослеживаемой по гидроническим балтизмам прежде всего. Как определяли восточные славяне этих балтов внутри пространства, ограниченного указанной дугой и заселенного ими до рубежа I—II тысячел. н. э., а кое-где и позже, практически неизвестно. С начала II тысячел. вытеснение балтийского элемента шло очень быстро и актуальные восточнославянско-(русско-)-балтийские контакты сосредоточились по внешней границе, примерно по периметру охваченного названной дугой пространства. К этому времени транскрипцией понятия «балтийский» стало «литовский», и с самого основания Литовского княжества литовцы претендовали на определенные части бывшего балтийского пространства. Они достаточно четко помнили его границы и, видимо, сознательно направляли свои военные походы в эти стороны; едва ли верно во всех многочисленных подобных случаях видеть только мотивы грабежа-наживы или мести. Двусторонность этих вторжений, иногда зависимость литовского шага от русского и наоборот, прослеживаемая по летописям, свидетельствует о своего рода «вооруженном» и военном диалоге сторон, где распознаются импульсы и реакции на них (впрочем, нужно помнить и о рокировках вроде 33-летнего княжения в Пскове литовца Довмонта, побеждавшего Литву, и примерах обратных данному). Помимо лучше известного интереса Литвы к южной части дуги (от Рязани до Угры) нужно помнить и о неоднократных летописных сообщениях о походах к Новгороду, Шелони, Торопцу, Торжку, Бежице, Селигеру, Любне, Мореву, Твери, Переславлю, Клину и т. п. (1210, 1217, 1222, 1223, 1225, 1229, 1234, 1245, 1285 и т. п.), т. е. к северной части дуги. Уже в летописных сообщениях складывается шаблон в описании «Литвы»: *Тое же зимы воеваша Литва Новгородскую волость... Ярославъ... поеха на нь... побѣгоша погании* (1225); *... оубиенъ быс Михаило Ярославичъ от поганья Литвы* (1248); *... идоша на безбожную Литву. и тако грѣхъ ради нашихъ безбожными погаными побѣжени быша* (1237); *... а Литвы множество исѣкоша..., а иная погань в рѣцѣ истопоша...* (1372) и т. п. Другая особенность состоит в контрасте между летописными сообщениями, в которых не раз говорится об успехах Литвы, и «художественным» образом ситуации, создаваемым в текстах иных жанров. «Слово о погибели Русской земли» акцентирует внимание на времени, когда *Литва из болота на свѣтъ не выныкиваху* (в связи с до сих пор сказанным этот текст особенно интересен, ср. описание «внутреннего» пространства, его природного и социального заполнения, его людского состава и обозначение «внешней» дуги, через указание «чужих»

этносов, в частности, и балтийских). В том же духе и в «Слове о полку Игореве»: *...и многы страны Хынове, Литъва, Ятвязи... сулицъ своѣ повѣргоша, а главы своѣ поклониша подѣ тыѣ мечѣ харалужьныѣ* и чуть далее — и *Двина болотѣмъ течеть онымъ грознымъ Полочяномъ подѣ кликъмъ поганыхъ* (видимо, о том болоте, из которого *Литва на свѣтъ не выныкываху*). Тот же акцент в «Житии Александра Невского»: *В то же время умножися языка Литовьскаго и начаша пакостити волости Александрове. Он же, выезда, и избиваше я. Единою ключица ему выехати, и пробѣди 7 ратий единѣмъ выездомъ* (совсем в духе — *однимъ махомъ семерыхъ убивахом*)... с выводом — *И начаша оттолѣ блюстися имени его.* Этот образ поганой и безбожной Литвы (о том, что она воинственна и жестока специально не писалось, поскольку эти же качества признавались и за собой, ср. описание жестокой расправы над литовцами Александра Невского: *множество князей ихъ изби, а овѣхъ рукама изыма; слуги же его, ругающеса, вязахуть ихъ къ хвостомъ коней своихъ...*) был усвоен и оказался небесспорным для более позднего «русского» образа литовца (по смежности и латыша и т. п.).

V. Речь идет о примерах, записанных за последний век с небольшим, но относящихся (как об этом свидетельствует их локус и некоторые другие детали) скорее всего к XIV—XVI вв. Эти примеры очень надежны, так как не отбирались специально, но оказались в диалектологических записях. Лишь несколько примеров из многих: *Литва: Бранно.* Эй, литва поганая; — *Литовский. Бранно.* Ией, литовские люди, съели хрен на блюде; — К кому Богородица, а к нам Литва (икона Богородицы спасла Москву от Тамерлана, а Витовт разорил Смоленск); — Сурожцы (черниг.) — литвины. Литва беззаконная; мякинники, гольтепа; — Литвин — колтун; Литовский колтун; — *Литва. Бранно.* О крестьянах, приезжающих на покос, коренных русских из села Воскресенского на Упе, — *Эй, литва поганая!* (ср. *литва* как образ чужого: *Ты скажи-тко, поляница, мни, проведай-ко, Ты коей земли да литвы.* Гильфердинг; *Чудь называли остяками и литвой.* Томск.; и даже литва́ 'брань', 'склока': *Уж раз пошла такая литва, так худо.* Пск.); — *Лѣтва. Шутливо или бранно.* Лѣтва некрещена! (в обращении, ср. также *лѣтва* ('буйное сборище')); — *Латыш.* Не одного слова от его, что он говорит, не поймешь, словно латыш какой; также — 'человек, плохо выговаривающий слова по-русски'; 'бестолковый человек'; — *Латышала* 'человек, который латышает — картавит, неразборчиво произносит слова' и еще раньше в начале XVII в. в записях Ричарда Джемса: *lattuish* (т. е. латыш). «Они сами хорошенько не знают, почему так говорят: употребляется это слово неодобрительно. Одни говорят, что оно обозначает язычника, некрещеного человека, а таковыми они считают всех, кроме себя. Другие говорят, что слово обозначает человека, не умеющего говорить на их языке, так, например, малым ребятам они говорят иногда: *Lattish ne umiat govorait* (Латыш! не умеет говорить)». А в рассказе Куприна «Мелюзга» три века спустя: «...в стороне... затерялась деревня Большая Курша. Обитателей ее зовут в окрестностях Куршей-головатой и Литвой-некрещеной», но и в наше время в тех же местах — *У С'ом'ки Латышъ у сымаб нѣту ни грашъ* (прозвище) и т. д.

Несколько соображений в связи с этими примерами. Прежде всего интересна их локализация: кроме «сумасшедших» и крайне редких случаев (Томск., Свердлов., отчасти Онежск.) они отмечены в Пск., Новгород., Тверск., Яросл., Моск., Ряз., Тамб., Тульск., Калуж. губ., т. е. именно по периферии, совпадающей с отмеченной выше балтийской дугой. Очень характерно в этой связи и расположение таких не исконных, но относительно поздно возникших населенных пунктов с литовскими названиями, как *Айбутово, Буконтово, Гирмонка, Домантовское, Ямонтово, Нарбужье, Скирмантово, Скомонтово* и т. п. с довольно точными странственно-хронологическими индексами (ср. Духовные и договорные грамоты князей XIV—XVI вв.). В этом же контексте неслучайным нужно считать сгущение примеров образа поганой литвы по обе стороны Угры: эта порубежная река нередко была местом противостояния, набегов, сра-

жений; здесь между Боровском и Юхновом жила голядь; в 1147 г., когда впервые летопись упоминает голядь и Москву, половцы «повоеваша Угры верх»; с тех пор Угра часто выступает в подобных контекстах. Но два факта должны быть отмечены особо: противостояние на Угре Витовта и вел. кн. Василия в 1409 г. и хана Ахмата и Ивана III в 1480 г. (балтийская подоплека этого «великого стояния» известна и очень значительна) и длительное присутствие здесь балтов, объясняемое изолированностью этих мест (последним уделом Московского княжества, сохранившимся до Василия II, был Верейско-Боровский, по Протве). Угра стала своего рода клише, и в списках псковской редакции, содержащих «Слово о гибели Русской земли», Угра заменяет Волгу в эпизоде, связанном с князем Глебом. Другая особенность — «русский» образ литовца сильно отличается от белорусского: последний спокойнее, конкретнее, как бы нагляднее, чаще ориентирован на то, что непосредственно связано с контекстом: *Літвякі по-нашаму не говоруць или Гутарка адметная ў той літоўкі*, или *І літвяке адзін другога не панімаюць*, или *Пры лецвякох жьём; Яе муш літвяк; Тут у нас літвінка, з Литвы дзеўчыну ўзялі* и т. п. Наконец, очень существенно, как видел русский литовца, уничижаемого в его характеристиках соседа, который тоже, впрочем, не оставался безответным. Этот сосед, литовец или латыш, не просто пашет землю, пасет скот или поет песню (об этом ни слова), но он некрещеный, не умеющий говорить и выступает только как объект брани, издевательства, дразнения, в лучшем случае обидной шутки. Все, конечно, имеет исторические основания, но сейчас важнее извлечь урок из этих описаний «соседа»: они рисуют не столько его образ, сколько то искажение, которое неизбежно при этноцентрической позиции, и разоблачают не столько этого «соседа», сколько соседа этого «соседа», в нежелании и неумении непредвзято взглянуть на ближнего. Но, впрочем, именно историчность заставляет взглянуть на картину и несколько иначе. Русские и сами умели пахать, пасти скот и петь песни; более того, они знали, что и литовцы умели это делать и поэтому не говорили об этом. Но говорили по-русски литовцы и латыши плохо или вовсе не говорили, вера их была с «русской» точки зрения язычеством и безбожием, и вот об этих отличиях и говорил «русский» образ литовца или латыша. Но и тут опасно занимать слишком жесткую позицию и принимать образы «чужого» вполне всерьез. Полностью серьезной была лишь установка на предельное обеспечение безопасности ради блага своего этноса. Сами эти образы не исчерпывались только их «оскорбительной» (или «противооскорбительной» — ответ на ответ) функцией: в них ощущается и определенная, *ad hoc* возникающая провокативность, желание вызвать другую сторону на ответ, по которому можно определить нечто для себя важное, намерение подsunуть оппоненту несколько примитивизированный «свой» образ (хитрость) и т. п. В этих дразнениях-поношениях, носящих почти ритуальный характер, уже ощущаются черты той «под-структуры», которая осуществляет «отрицательный», шутливо-бранный или иронический диалог двух этносов, отчасти подобный диалогам между жителями двух соседних (но «своих») деревень или между парнями и девушками в отмеченные моменты календарного года. Эта специфика диалога отчасти помогает понять ситуационную и жанровую обусловленность взаимных «оскорбительных» образов. Когда каждая сторона приходит к пониманию, что надежность и гарантии для своего этноса требуют уже не акцентирования и персеверации «своих» достоинств и преимуществ, но выхода в более широкую сферу, где допустимы контакты и диалоги с другим этносом и где можно найти новые положительные возможности, тогда «отрицательная» окраска образа «соседа» снимается, и та же схема диалога заполняется положительным содержанием. Привязанность к роду, родному месту, родине, вере, языку глубже входит в сердце, перестает использоваться агрессивно, помогает понять, что и у соседа есть такие же привязанности. Эта общность самой привязанности и ее роль в понимании другого важнее различий в объектах этой привязанности, как общечеловеческое важнее национального, но самый органичный путь к нему именно через этнически индивидуаль-

ное и различное. В силу исторических причин русско-литовский диалог не был завершен, шанс, даруемый самим условием встречи на одном, а позже на смежных пространствах был упущен, поры плодоношения не дождалась ни та, ни другая сторона. Этот исторический урок невестребованных возможностей делает настоятельным выполнение взаимного долга в новых условиях. И «русская» сторона должна сделать первый шаг. Во всяком случае уже в середине XVI в. митрополит Макарий, имея в виду Литву, писал: «Мы — люди церковные, и нам до того дела нет (до государевых дел.— В. Т.). А мы, как пастыри христианские, боговенчанному самодержцу напоминаем, чтоб он с пограничными своими соседями имел мир и тишину».

ТОПОРОВ В. Н., д-р филол. наук,
ведущий научн. сотрудник ИСБ

ОБ ОДНОМ ИЗ СМЫСЛОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПОНЯТИИ «ГРАНИЦА» (ОТ «МИОРИЦЫ» ДО ХАРМСА)

Понятие «границы» является своего рода техническим термином при экспликации основного набора семиотических оппозиций, характеризующих модель мира (ММ); речь идет прежде всего о пространственных оппозициях — *внутренний / внешний, здесь / там, этот мир / тот мир* и т. п. Назначение границы очевидно: это линия, которая собственно и членит пространство. Не раз говорилось о том, что пространственные оппозиции ММ легко транспонируются в оппозиции другого порядка, в частности социальные; среди них на первый план выступает оппозиция *свой / чужой*, где *чужой* понимается не только в контексте категории обладания, но и как *иной*. Освоение и усвоение мира, осознание своего *я* и отделение *себя* и *своего* пространства от *чужого*, *иного* требует таким образом понятия *границы*.

Однако очень скоро оказывается, что это понятие в той же мере служит и иным целям, направленным, так сказать, на свое же собственное опровержение. Граница — это как бы временная остановка, предполагающая выход за обозначенный ею самою предел. Предел несет в себе возможность «выхода за пределы», и может быть, в этом и заключается его глубинная функция. О такого рода «энантиосемии» римского Термина — бога границы, олицетворенного межевым столбом, пишет Овидий (Фасты 2, 683—684):

Земли народов других ограничены твердым пределом,
Риму предельная грань та же, что миру дана.

Понятие «пограничье» включает в себе, как представляется, нечто большее, чем превращение линии в некую промежуточную полосу, где *разное* смешивается и становится трудноразличимым; это еще и наглядный пример того, что дает «выход за пределы» на самом первом этапе, и каким образом этот этап осуществляется. Признание существования такой общей зоны в разных фрагментах ММ (в данном случае — во фрагменте духовной культуры) облегчает дальнейшие сопоставления разного обнаружения сходжений (объясняются ли они общим происхождением или контактами), так же как и анализ механизма заимствований.

До сих пор речь шла о «переходах через границу», генетические, исторические или логические истоки которых поддаются истолкованию, хотя бы теоретическому. Однако в области духовной культуры существуют и такие «перелеты через границу», которые укладываются лишь в предложенную ассириологом и поэтом Шилейко формулу: «Область совпадений столь же огромна, как и область подражаний и заимствований» [цит. по: 4]. В последнее время интерес именно к таким «встречам в пространстве культуры» возрастает: мадхьямики и элеаты, Мандельштам и Басё, Андрей Тургенев и Исикава Такубоку (ср. вообще тему Восток-Запад) и т. д. О такой «встрече в пространстве», географически более ограниченном, но в крайней степени разведенном по культурным параметрам, и будет говориться далее.

Пастушеская баллада «Миорица» является признанным шедевром румынской народной поэзии. В определенном смысле в ней сконцентрирована самая суть пастушеского менталитета, который является одной из основных составляющих балканской модели мира (БММ). И тем более значимо, что при высокой степени общности балканской духовной культуры (что и дает основания постулировать БММ) и в частности ее «пастушеского фрагмента», этот сюжет засвидетельствован только в румынском фольклоре. Таким образом «Миорица» содержит в себе идею уникальности (предела) и общности (выхода за предел).

Сюжет «Миорицы» сводится к следующему: в горной долине сходятся трое пастухов со стадами; двое из них собираются убить третьего, чтобы завладеть его стадом. Волшебная (говорящая) овечка Миорица предупреждает хозяина об опасности и указывает ему путь к спасению. Отказываясь от самой мысли о бегстве, он дает овечке распоряжения, как и где его похоронить и что сказать овцам из его стада и матери, которая будет его искать. При этом свою смерть он описывает как бракосочетание с землей, и это сообщает сюжету мистериальное звучание:

...с невестой верной
Царицей вселенной,
Перед небом и светом
Сведен я обетом.
А с небес тогда
Канула звезда,
А луна и солнце
Нам надели кольца,
Над землей сияли
И венец держали
...
И звезды свечами
Горели над нами...

Это звучание остро почувствовал М. Элиаде [5]. В его трактовке герой воспринимает смерть как торжественную мистерию, преобразующую его судьбу. Гибель юноши, простого пастуха, обращена в свадебное торжество («миоритическая свадьба») космического масштаба: «миоритическое пространство» (Блага) становится пространством космическим. В Миорице и герое Элиаде видит расщепление человека на две ипостаси: телесную, представленную Миорицей, которая ищет пути к спасению, и духовную, представленную героем, отвергающим эти пути. Это сочетание, борьба двух начал, взаимозаменяемость человека и овечки отсылает к модели жертвоприношения. В этом контексте образ волшебной овечки получает особое значение. С одной стороны, овечка — классический образец так называемой «парадоксальной жертвы», предельно непричастной злу, невинной и незащитной; в этом своем качестве она может заменять человека (жертвоприношение Авраама). С другой стороны, и специально в христианской традиции, эта взаимозаменяемость приобретает более сложные формы. Христос — Божественный Агнец, жертва во имя спасения человека. Христос — Добрый Пастырь, а его паства — люди, Божьи овцы. Образ овцы в этом сложном переплетении приобретает значение более глубокое, чем только олицетворение невинной жертвы. Мистическая связь Бога и человека через Агнца, его причастность к жертвоприношению — Божественному во имя человека и человеческому во имя Бога — придает этому образу космическое звучание. На космическом фоне разворачивается диалог пастуха и овечки в «Миорице», и тем самым не только он, но и Миорица приобретает космический масштаб, уходя от классического фольклорного амплуа «животное — чудесный помощник».

Странным образом мистически неопределенные стремления и космическая тоска «Миорицы» откликнулись в обэриутской поэзии у Хармса, в стихотворении 1929 г.:

Овца

I

Гуляла белая овца,
Блуждала белая овца.
Кричала в поле над рекой,
Звала ягнят и мелких птиц,
Махала белою рукой,
Передо мной лежала ниц.
Звала меня ступать в траву.
А там, в траве, маша рукой
Гуляла белая овца,
Блуждала белая овца.

II

Гуляет белая овца,
За нею ходит Козерог,
С большим лицом в кругу святых,
В лохматой сумке, как земля,
Стоит на пастбище, как дом.
Внизу земля, а сверху гром,
А сбоку мы — кругом земля.
Над нами Бог в кругу святых,
А выше белая овца.
Гуляет белая овца.

Не имея возможности анализировать здесь это стихотворение подробно (и не касаясь в частности его зодиакальной символики), скажем лишь о несомненно ощущаемом глубинном родстве этого стихотворения и «Миорицы». На интуитивном и в то же время обобщенном уровне можно увидеть у Хармса вариант «Миорицы», написанный эзотерическим языком; эзотерическим для нас, потому что мы не знаем его тайны. Напомним, что и «Миорица» в своем роде эзотерична: со времени ее опубликования Александри (1850) не утихают споры о ее истолковании, и к единому мнению интерпретаторы так и не пришли — загадка «Миорицы» остается с ней. Что же касается Хармса, то практически невероятно предположить его знакомство с «Миорицей»; таким образом все как будто направляет нас к тому, чтобы видеть в этом классическое совпадение (по Шилейко), сводимое к уровню любопытного случая. Эта случайность особенно подчеркивается тем, что мы привыкли воспринимать поэзию обэриутов как упражнения в бессмыслице, нонсенсе, принимающем комический, трагикомический или трагический облик, — но, пожалуй, не более того (речь идет именно о клишированном образе обэриутов в современном восприятии).

Между тем, как кажется, здесь ощущается совпадение не на уровне диалога текстов, а в том, что совпадает на уровне духа и души в их стремлении к горнему, облеченному в сходные формы. Если искать для этих форм архе- или архитип, вряд ли стоит обращаться к культурным традициям, и не потому, что это было бы напрасно, а потому, что сходства такого рода коренятся в универсалиях, касающихся представлений человека о творении мира, о его устройстве и о своем в нем месте.

Космическая тема, пронизательно замеченная Элиаде в «Миорице», при более пристальном внимании обнаруживается у обэриутов как одна из наиболее значимых. Более того, можно предположить, что сама обэриутская бессмыслица строится на каркасе соответствующем архетипической ММ (как она представлена в современных исследованиях), что ММ является точкой отсчета для конструирования представлений о мире, в тем большей степени кажущихся парадоксальными, в чем большей степени они основаны на архетипе. Если совпадение с «Миорицей» в связи с образом овечки выглядит действительно неожиданным, то общее в космических пейзажах в свете сказанного выше уже не кажется таким поразительным. Прощание с *этим миром*, когда перечисляются основ-

ные элементы его устройства, мы встречаем у Хармса:

И вот настал ужасный час:
Меня уж нет, и нету вас,
И моря нет, и скал, и гор,
И звезд уж нет; один лишь хор
Звучит из мертвой пустоты.

Особенно ярко «миоритическая» тема расставания с землей выступает в диптихе Введенского «Где» и «Когда» (1941), сами названия которого соответствуют пространственно-временным характеристикам ММ и необходимым условиям для ориентировки человека в мире:

«Где он стоял опершись о статую. С лицом переполненным думами. Он стоял. Он сам обращался в статую. Он крови не имел.

Зрите он вот что сказал
прощайте темные деревья
прощайте черные леса
небесных звезд круговращенье
и птиц небесных голоса...».

После прощания человека со всем миром (*И так попрощавшись со всеми...*) и его смерти происходит — в виде своего рода палинодии — прощание всего мира с человеком:

«*И ту*» состоялась часть вторая — прощание всех с одним.

Деревья как крыльями взмахнули *свои*ми руками. Они обдумали, что могли, и ответили

ты нас посещал. Зрите.
он умер и все умрите...

Скалы или камни не сдвинулись с места. Они молчанием и умолчанием и отсутствием звука внушали и нам и вам и ему...

...
Прощай мир. Прощай рай.
Ты очень далек человеческий край. ...».

Поэтическое выражение представлений обэриутов о мире и месте человека в мире, о смерти и воскрешении, т. е. смерти как условия жизни, о единстве человеческого духа и знания, нельзя отделить от философской основы, рождавшейся в беседах «чинарей» — содружества, в которое входили поэты Введенский и Хармс и философы Друскин и Липавский. «Чинари» говорили о поэзии, поэтической философии, философии и теологии. Если «иерархизировать» эти многоплановые беседы (куда входила и «словесная игра, состоящая в преобразовании, подмене и перекидывании словами по неуловимому стилистическому признаку»), то становится ясным, что с п о с о б представления мира у обэриутов («бессмыслица») и был производным от их представлений о мире, соответствующих, как уже было сказано, архетипической ММ ср. (Друскин): «У Кафки, Хармса и Введенского бессмысленные ситуации или положения, в которые попадает человек, часто открывают его ноуменальное существо („сокровенный сердца человек“) и его отношение к тому, что превосходит его понимание» [6].

Тема «космос и человек» была для обэриутов основоположной и в их системе преломлялась под углом антропоцентризма. Точкой отсчета был человек и его страх перед миром, перед неизбежностью смерти, являющейся в трагическом облике, вырывающей человека из прекрасной жизни (*Неприятно и нелегко умирать*, Введенский) и не дающей ему выполнить свое предназначение. В связи с этим нельзя не привести мысли «чинарей» о преждевременной смерти: «Есть неистребимое чувство, что в мире имеется какая-то тайна. Распускание цветка прекрасно, и жалко его не увидеть. То же и о человеке. Нехорошо умереть, не выполнив ничего. Неизвестно, есть ли у нас предназначение или нет, но чувство этого

и связанной с ним ответственности есть » [7]. Этот пассаж возвращает нас к «Миорице», где эта тема также присутствует, но в совершенно ином преломлении.

Готовность к смерти (когда-то ее трактовали как проявление фатализма, свойственного румынскому менталитету), благородная резиньяция и стремление к самопожертвованию, более того, ощущение торжественности ухода из жизни, превращенного в мистерию, соответствует совершенно иному представлению о месте человека в мире. Здесь человек является не центром мироздания, но элементом, частицей мира, участвующей в его вечном обновлении. В этом он видит свое предназначение, и его индивидуальность проявляется в отказе от проявления своей воли и в растворении в мире. Так при сопоставлении выявляется одинаковое и разное: и в «Миорице», и у обэриутов космос описывается по сходным параметрам и соответствует архетипической ММ, вплоть до совпадения сюжетных ходов и персонажей. Но в мире «Миорицы» нет страха, а в мире обэриутов он есть; в определенном смысле можно сказать, что он и является в их мире основным нервом. Объяснение этого страха реалиями мира, в котором они жили и погибли, напрашивается само собой. Однако это лишь поверхностный слой, лишь повод: настоящая поэзия прозревает за событиями реальной жизни нечто большее, их сокровенную суть. Мир обэриутов эсхатологичен, его двигателем оказывается бессмысленная жестокая смерть, которая не ведет к обновлению и воскрешению. Она не вытягивает человека в природу (как это происходит в архетипической ММ и эксплицируется в «Миорице»), а вырывает его из природы, нарушая тем самым космический порядок. Поэтому протест человека является не проявлением его эгоцентризма, а отчаянной попыткой сопротивляться хаосу (царству Хама), попыткой, заранее обреченной на поражение. Этот хаотический мир «превосходит понимание» человека, и тогда «бессмыслица» становится средством защиты (причем слой смешного, фарсового, с которым в наше сознание вошли обэриуты, оказывается отнюдь не основным).

Случайное сопоставление румынской народной баллады и поэзии обэриутов, как представляется, оказалось бесполезным, и не только потому, что оно показало возможность «выхода за пределы», нахождения о б щ е г о там, где его меньше всего можно было ожидать, исходя из логики и повседневного опыта. Важно и то, что это совпадение помогло увидеть и р а з л и ч и я, а это, в свою очередь, углубило интерпретацию каждого из сравниваемых объектов как такового. Эта вариативность подхода, иногда доходящая до парадоксальности, множественность трактовок и т. п. также не случайна, а опирается на некоторые универсалии человеческого менталитета. Представляется, что лучше всего это сформулировал один из «чинарей», философ Друскин:

«...Четыре важные вещи, которые я хочу сообщить: первое — миру присуща приблизительность; поэтому никогда не надо говорить точно, в числах ... второе — страх — порождение расстояния ... третье — мир определяется всего несколькими знаками, как то: небытие, время, смерть, деревья или вода ... четвертое — сознание не подвержено ограничениям пространства и времени, оно может быть с р а з у в р а з н ы х м е с т а х, следовательно, возможно, что оно одно для всех людей, и каждому кажется, что оно и м е н н о е г о» (разрядка моя. — Т. Ц.) [6, с. 12]. Если это так, то для совпадений сильно понижается процент случайности, а понятие «границы» в еще большей степени начинает служить тому, чтобы находить общее по ту сторону демаркационной линии; духовные процессы приводят к совершенно иному членению пространства и времени (ср. косвенно к этому замечание Н. С. Трубецкого из его письма к Якобсону, 1934: «Для того, чтобы один литературный язык „привился“ на другом, вовсе не нужно реальной встречи двух языков или двух народов на какой-нибудь территории: ср. соотношения между русским и старославянским языком»).

*ЦИВЬЯН Т. В., канд. филол. наук,
ст. научн. сотрудник ИСБ.*

Этимологизированием славянских слов, относящихся к понятию *груз*, издавна занимались многие авторы, итог лаконично изложен О. Н. Трубачевым в «Этимологическом словаре славянских языков» [8, с. 124—126, 150—152].

Отчетливо выступают две особенности итога: замкнутость на балтославянских лексических отношениях, без широкого индоевропейского фона, обычного для этого солидного словаря, и выявившаяся ближайшая связь между, казалось бы, далекими друг от друга понятиями *груз* и *грязь*. Первое как бы тонет во втором; даже там, где регулярное чередование в огласовке корня настраивает ожидать семантических пояснений о *грузе*, всплывает «укр. *грузити* „истапывать, месить ногами размягченную дождем землю“» [8, с. 150].

Первая особенность нуждается в оговорке. «Русский Фасмер», переведенный и дополненный О. Н. Трубачевым, все же указывает на два родственных старославянскому (по)грязнѣти имени из неславянских языков, засвидетельствованных древней письменностью [9]: готский гапак *qraþmīra*, передающий греческое *ἰχμᾶς* в тексте Лк 8,6, где говорится о земляной сырости, в которой нуждается для своего прорастания зерно (*ἰχμᾶς* применимо и как название жидкости, выделяемой гниющим мясом [10]), и латинское *gramiae* «гнилое выделение в уголках глаз» [11]. Готское и латинское слова существенно древнее славянских, отсюда возможно представление, что *грязь*, склизкие нечистоты — понятие исходное, а *груз* — вышедшее из него понятие вторичное. Если называть вещи своими именами, такой этимологизацией натурфилософская мысль и техническое бескультурье древних славян опущены до последнего воображаемого предела.

Ведь о чем идет речь? *Груз*, нагрузка — фундаментальные понятия эмпирической статистики, с которыми homo sapiens, человек разумный, имел дело изначально. Из мудреного понятия *силы*, исходного в феноменологии любой религии [12], такая разновидность как *груз* выделяется своей простотой, направленностью только по вертикали, сверху вниз. Это — действие универсальной силы тяжести, неуомпостигаемо присущей каждому материальному предмету. В процессе своей жизнедеятельности человечество рано научилось видеть в *весе* меру вещей, манипулировать *грузами* в том числе огромными, при строительных работах, точно взвешивать для нужд торговли очень малые количества драгоценных материалов. Эмпирически были познаны свойства воды и условия, при которых *груз* либо держится на поверхности воды, либо тонет; изобретены способы удержания наплаву грузов, имеющих удельный вес больший, чем у воды. Это открыло человечеству водные пути сообщения, капризные, смертельно опасные, но по конечной эффективности делающие целесообразным любой риск. Все это было уже до славян.

Первые памятники славянской письменности — переводы греческих христианских текстов, не дающих повода к развернутым суждениям о физике силы. Но как только представился случай высказаться от себя, без оглядки на византийские авторитеты, древнеславянская мысль дала единственный в своем роде образчик опозитивированного народного наблюдения над действием гидростатического принципа, известного в науке под названием закона Архимеда. «Повесть временных лет» сообщила в статье 985 г. по древнейшему списку 1377 г. (Лаврентьевская летопись), что после столкновения киевского князя Владимира Святославича с болгарами стороны помирились и поклялись никогда больше не воевать, причем болгары сформулировали свою клятву так: «Толи не будет между нами мира: елико камень начнет плавати а хмель почнет(ь) тонути» [13], с разночтением по другим спискам — «а хмель грязнути».

Это важное разночтение нет необходимости считать позднейшей лексической новацией, не исключено, что оно было в утраченном оригинале «Повести временных лет». Дело в том, что в славянских рукописях, вплоть до древнейших, глаголы (по)грязнѣти, (по)грязти, грязѣти, судя по кон-

текстам, сами по себе не имели ничего от нынешнего значения «грязь» как противоположности «чистоте», эти глаголы означали единственно действие *погружения*, вертикального движения вниз под действием силы тяжести, в том числе и во вполне прозрачную воду моря, и в сухой белый песок пустыни, и в содержимое выгребной ямы отхожего места [14; 15]. Семантика собственно *грязного* развилась в этих глаголах как явление вторичное, вероятно — под влиянием тех вошедших в обиход контекстов, где была образность *погружения* в греховность. Кстати, в самом ярком образе этого рода — в псаломском стихе 68,3 (его синодальный перевод на современный русский язык: «Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стоять») древним переводчиком применен совсем другой глагол: «И угльбохъ въ тинѣ глѣбины, и нѣсть постояннѣ» [16], соответственно греческому оригиналу ἐνπάγγην (аог. 2 pass. к ἐμπύγγωμι «втыкать, вонзать») εἰς ἰλὸν βυθῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις. С другой стороны, глагол *погрязнѣти* по языковому чутью древних переводчиков годился для передачи греческого βαπτίζεῖν, глагола с самыми высокими ассоциативными связями в сакральной семантике, применимого к действию крещения [17]. Из всего этого следует, что реконструкцию семантики праславянского корня *grōz- нет нужды прекращать на той поздней стадии, где остановился «Этимологический словарь славянских языков», есть достаточно оснований продлить ее на дохристианскую стадию, когда слова этого корня еще не вобрали в себя отрицательную половину семантики богословской антитезы *грязное* — *чистое*, антитезы ключевой, а поэтому способной оказать мощное перераспределяющее воздействие на семантические поля слов, вовлекаемых ею в сакральную сферу.

Видное место в славянском литературном репертуаре вариаций на тему *погружения* занимала литургическая поэзия — всем в старину известные ирмосы гимнографических канонов, а именно ирмосы первых песней, излагающие на разные лады переход Израиля через Красное море и потопление египетских преследователей (Исход 14, 23—28, 15, 1—10), и ирмосы шести песней, отведенные чудесному пребыванию пророка Ионы в морских глубинах, в чреве китовом (Иона 2). В византийском оригинале ирмосов действие *погружения* выражалось, как правило, глаголом βυθίζεῖν, которого нет в соответствующих эпизодах Септуагинты, а это обращает на себя внимание, ведь пииты дорожили буквой св. Писания.

Выход на первый план глагола βυθίζεῖν «опускать в глубину», производного от имени ὁ βυθός «глубина», может объясняться тем, что βυθός некогда малозаметное слово, которого, к примеру, у Гомера вообще не встретить, обрело значительность под пером раннехристианских авторов, употреблявших его в прямом и метафорическом значениях, отрицательном и положительном; есть это слово и в языке гностиков [18]. Переход Израиля через Красное море был для гимнографов важен как раз своей иносказательностью, поэтический замысел нуждался именно в словах с иносказательным потенциалом, когда вся композиция имела тему, далекую от событий перехода через Красное море. Пример тому — ирмос редкого третьего гласа для Успенского канона, творение константинопольского гимнографа Феодора Студита (759—826):

Τῷ βυθίσαντι θαλάσῃ μυστικῇ
τὸν νοητὸν Φαραὼ πανστρατιᾶ
καὶ ἀνάξαντι ἡμᾶς εἰς οὐρανὸς
ὡς ἐπὶ ὄρους Ἰσραὴλ
ἄσμεν ἄσμα καινὸν
ὅτι δεδόξασται [19].

Славянский текст по Ирмологии конца XII в. (Москва, ГИМ, Воскресенское собрание, № 28, л. 67—67 об.):

Погружьшоуому въ морі таинѣмъ
мысльнааго фараона съ вои
и изведьшоуому на небеса

яко въ гороу Издраила
и въспоямъ гѣсьнъ новоу
яко прослави сѧ.

Ирмос был известен на Руси еще раньше. В неполном виде, только зачалом *Погрожьшу* (полный текст певчие знали наизусть) он поставлен на предпразднество Успения в древнейшем списке новгородской августовской служебной Минеи конца XI или начала XII в. (Москва, ЦГАДА, ф. 381, № 125, л. 31).

Возвратимся к отмеченному в самом начале отсутствию в этимологической литературе о праславянском *grǫz-, замкнутом на балтославянских лексических отношениях, каких-либо выходов на индоевропейский фон, подкрепляемых данными древних письменных языков. Соблюдается равновесие, в этимологической литературе о древних письменных языках индоевропейской семьи тоже нет выходов на праславянское *grǫz-.

По нашему мнению, нет ни натурфилософских, физических, ни лингвистических противопоставлений к установлению этимологического родства праславянского *grǫz- с готским *kaírus*, латинским *gravis*, иранским *gīpan*, санскритским *guruḥ*; эти четыре параллели, имеющие одинаковую семантику — «тяжелый», давно связаны между собой надежными этимологизированиями, возводимыми к индоевропейскому *ǵer* «тяжелый» [20—22].

МУРЬЯНОВ М. Ф., д-р филол. наук, вед. научн.
сотрудник ИМЛИ

БЛАГОГОВЕНИЕ

В последние годы в наш лексикон возвращаются забытые слова; важнейшие из них — это *покаяние* и *милосердие*. Значение этого процесса далеко не очевидно. Весьма и весьма часто вместо того, чтобы обогащать собственное сознание глубокими и подлинными смыслами возвращенного слова, мы вкладываем в него распространенные в наше время, сниженные и профанированные смыслы. Тем самым мы остаемся при своем и со словом ничего не приобретаем. Процесс возвращения слов оказывается совершенно никчемным. Однако слово — это не пустой звук, не условная оболочка, которую можно наполнять произвольными, понятными в настоящий момент значениями. Подкреплю данное свое суждение авторитетом П. А. Флоренского. Его учение о слове (развитое в книгах «Мысль и язык» и «Имена») стоит на убеждении: всякое слово, в его конкретной фонетической наличности, есть реальная, живая, духовная сила, обретающая в звуках тончайшую плоть. Иначе говоря, смысл слова сопряжен с его внешней, звуковой и буквенной формой, которую до бесконечности «трепать» нельзя. Ошибочно считать, что мы обладаем безграничной властью над словами и произвольно пользуемся ими в своих интересах. Слова — живые, мощные силы — работают над нашими душами, формируют их, подчиняют своим собственным смыслам. Потому и важно возвращение «благих» слов. Ведь их жизнь — реальная духовная деятельность, которая рано или поздно принесет плоды. Такова жизнь слова «*благоговение*».

Глубокомысленное обсуждение смысла этого слова присутствует в романе Гете «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся». Гете — гений, стоящий над идеологиями и над конфессиями; целью его исканий была внеисторическая Истина, сокровенное существо всех великих религий и мировоззренческих систем. То, о чем сейчас нам предстоит говорить, входит в нее как аспект воспитания в Истине и заслуживает самого пристального внимания. В одном из эпизодов романа Вильгельм попадает в некую общину, призванную выразить идеал воспитания человеческой души, каким он виделся Гете. Система воспитания в воображаемой общине в основе своей имеет *благоговение* — то, «от чего зависит, чтобы человек во всем был человеком». Благоговение — это сложное, двойственное чувство, точнее же сказать, — не чувство, но душевный

строй, организация души, обуславливающая собою все душевные проявления: в благоговении слиты воедино любовь и страх. Гете различает три рода благоговения; какому из них ученик должен следовать, зависит от его духовной продвинутости. Целью же является слияние трех родов воедино, обретение благоговения всеобъемлющего. «Первый род — это благоговейный страх перед тем, что выше нас»; ученикам в первую очередь надлежит обрести страх перед Богом, «чей явный образ отпечатлелся для них в родителях, учителях и наставниках». Второй род — благоговение перед тем, что ниже нас; это душевное устройство формируется, по Гете, христианской религией, религией смирения перед каждым. Наконец, третий род — благоговение перед равными. Слияние же их порождает «высшее благочестие — благоговение перед самим собой». Страх как составляющая благоговения, согласно Гете, есть продуктивная душевная сила. Но не стихийный, прирожденный человеку страх, а страх возвышенный. «Страшиться легко, но тягостно; благоговеть трудно, но спокойно». Благоговение же — это «высшее чувство, оно должно быть даровано человеческой природе, а само из себя оно развивается только у взысканных особой милостью, у тех, кого за это издавна считали святыми и божественными».

Проследим, что из этого всеохватывающего и в последних своих пределах эзотерического понятия (эзотерично благоговение перед самим собой, почитание себя, по Гете, за «совершеннейшее произведение Бога» без впадения в «спесь и самодовольство») усвоено русским сознанием в XIX в. В словаре В. Даля с «благоговением» связаны следующие смысловые оттенки «страшиться и покоряться; смиряться в ничтожестве своем перед высшим; оказывать кому безусловное уважение и повиновение; раболепствовать; признавать и ценить чьи достоинства». В «Словаре русского языка XI—XVII вв.», отражающем понимание слова в древней Руси, «благоговение» определено как «благочестие, богобоязненность». Как кажется, русский язык придавал благоговению прежде всего первый гетевский смысл. Это был благоговейный страх перед высшим; также последнее значение, из приведенных Далем, указывает на то, что ему не чуждо было и благоговение перед равным. В наборе значений у Даля нет благоговения перед низшим — того, что Гете прямо связал с христианским мироощущением. Это можно объяснить лишь тем, что отношение русского человека к малому, слабому всегда было окрашено в тона милующие, жалостливые, — вспомнить хотя бы помощь русских святых животным, — тогда как в «благоговении» в понимании Гете преобладает страх¹. Русскому слову не присущ и смысл благоговения перед самим собою. Думается, он вообще чужд историческому христианству, где отношение к себе всегда отрицательное, покаянное; экстаз же святых — Гете здесь имеет в виду ступень святости, достижение «высочайших высот» духа — вообще есть «выход из себя» и самозабвение. Благоговение взращивалось в душе русского человека в атмосфере православного храма и переносилось затем в сферу социума, приобретая иногда при этом отрицательную окраску («раболепствовать» у Даля). Всякая добродетель имеет свою изнанку, соответствующее слово — верхний и нижний в этическом отношении полюса.

Вне сомнения, первичным и главным среди смыслов «благоговения» является признание человеком некоей реальности, бытийственно его превосходящей, и свободное самоумаление перед нею. Благоговение — это действие глубочайшего в нас, нашей воли. А потому в связи с благоговением речь идет не о *периферии* душевной жизни, но о сокровенной сфере человеческого *духа*. Подобно тому, как растение распускается из

¹ То, что немцы в понятии «благоговение» особо акцентируют момент страха, отражено в немецком языке. Гете употребляет слово «die Ehrfurcht» — слово сложное: ehren — чтить, die Furcht — страх. В русское же слово значение страха входит лишь опосредованно, через понятие «говения» — т. е. подготовки к исповеди и причастию, подготовки, сопряженной со страхом Божиим. «Страх» спрятан в глубину русского «благоговения» и сильно смягчен смыслом первого корня, «благостью». Тогда как в немецком слове «страх» составляет его основу, ядро.

семени, бытие человека разворачивается изнутри, из сокровенного духовного центра.

Благоговение — категория не этическая: она обозначает чувство человека, которое, прежде всего, уместно по отношению к Богу, а не к другому лицу. Это категория духа — не душ. Нравственность, регулирующая человеческие взаимоотношения, не первична — первичен духовный строй личности. Нравственность обусловлена духовной жизнью. Критерием же правильности духовного устройства личности является наличие или отсутствие у нее благоговения. У Гете благоговение — принцип мироотношения вообще. В христианстве этическая добродетель оказывается прямым следствием религиозности: благоговение перед Богом порождает и благоговение перед образом Божиим в человеке; последнее же — исток уважения и почтительности к каждому, невзирая на лица, признание великой ценности личности как таковой.

Именно подобным образом всегда была ориентирована правильная духовная дисциплина, призванная воспитать личность в соответствии с порядком Вселенной, с незыблемыми антропологическими и космическими законами, а не с намерением поставить человека в его наличном несовершенстве в центр мироздания. В Евангелии Христос призывает учеников в самоумалении уподобиться детям, духовно подражать нищим, служить друг другу во всем. Не ограничивающий себя пределами христианства «олимпиец» Гете именно в таком духовном строе видит духовный аристократизм. И здесь не условности, не произвол — но ориентация на реальность, не этика — но онтология.

Благоговение — категория, которая раскрывает свой смысл и при анализе ее грамматических форм. Глагол «благоговеть» имеет грамматическое управление — благоговеть перед кем-то или перед чем-то. Так проблема благоговения выражается как субъективный, внутрличностный аспект духовных ценностей.

БОНЕЦКАЯ Н., канд. филол. наук, ст. научн. сотрудник ИМЛИ

ВСТРЕЧА-НЕВСТРЕЧА БОЛГАР И РУССКИХ В МОСКВЕ СЕРЕДИНЫ XIX В.

В середине XIX в. болгары, приехавшие в Москву учиться, сделали возможной встречу двух космо-исторических тел: России и Болгарии. Продумаем эту встречу и невстречу в такой перспективе: чем жила тогда Россия, и чем Болгария, и что они могли понять и не понять друг в друге?

В России, особенно в Москве, тогда шло тоже бурное возрождение, поиск национально-самобытных начал. Век Петра и его вектор абсолютно западной ориентации окончился с изгнанием Наполеона. Оно осуществлено не Питером-батюшкой, окном в Европу, а Москвой-матушкой Русью и народом — ее Сыном. И естественно в исторической гордости воспрянули теперь Мать и Сын против Отца, а именно Мать-земля — исконная родина Русь и ее природный Сын-народ и его дух — против деспотизма Отца-Государства — Варяга-Запада (Эдипов комплекс в истории). В Москве в противовес Государству возникает Общество; вдали от министерств и коллегий, проспектов и чиновничьего духа Петербурга — тут, в кривых переулочках, в женских кривых, а не мужских прямых линиях на лоне Матушки Сын-Антей русского духа воспрянул и к мысли и Логосу, и его голос — в тогдашней интенсивной интеллектуальной жизни и спорах.

«Москва, спаленная пожаром», — это допетровская Русь, обожженная западным люциферовым огнем. Словно Россия (в этом такте своей истории) — после того, как избыточно-недопереваренно впустила в себя западные начала, вытошнила ими, выплюнула. Ориентировка на «варяг» сменилась ориентировкой на «грек» — на Юг: на свою веру, язык, историю. Этот вектор через Киевскую Русь естественно привел и далее

на Юг и Запад — и в орбиту интереса попали и славяне: так М. Погодин вступил в контакт с Ганкой, Колларом, с Венелиным и т. д.

И подобно тому, как русские воины, казаки, выплевывая француза, зашли в Пространстве далее естественных пределов русского Космоса, раскатились через Германию аж в Париж, так и московский Логос в самопоиске своей сути зашел за пределы России во Времени: перепрыгнув через век XVIII и царски-боярские XVII—XV — заглянул в свою историю: в фольклор, народный быт, общину, песни, летописи и откуда есть пошло Слово России, — так язык древнеболгарский приблизился, и этот народ славянский и православный.

С Петром-Наполеоном вторглась в Русь жгучая модернность и злоба дня экономики, политики и социальности. Воскресение ж Москвы привело и к вознесению Руси и ее начал. А это — иной шаг и темпоритм времени, близкий к Вечности. Это Духовная культура, в отличие от той рассудочно-интеллектуально-научной, что шла с Запада. Это дух братства-соборности-общины и любви — в отличие от классовой ненависти и борьбы как движущей силы истории, что в это время предложили Дарвин и Маркс.

Но совершалось это уразумение, национальное самопознание — как вторичное: людьми как раз высочайше образованными именно в западной культуре, истории и философии: Карамзиным, Грибоедовым, Чаадаевым, Пушкиным, Тютчевым, Хомяковым, Аксаковым, Иваном Киреевским, который журнал именно «Европеец» основал и статью-манифест «Девятнадцатый век» написал, а уж потом — «Москвитянин» явился. Разверзся их мыслями и трудами диапазон исторических координат: стали мыслить основными ценностями, их искать и к ним пробиваться из нынешних политико-дипломатических игр, интересов и злобо-дневностей. Вместо нее — добро-годность: вместо дня — год (век, вечность) и то, что годно на добро и благо — и высшее, и земное, жизненное, материнское.

И в этой устремленности тоже совпадение тогдашних москвичей с болгарами: последние через голову чужеземной им современности турецкого ига обернулись к тому, что было за полтысячелетия до того: к своему царству-государству, языку и культуре, фольклору и вере, — и тем подкрепляли самочувствие, как и славянофилы поднимали само-сознание русских. Шло взаимопитание. Славянство расширилось и в пространстве и во времени как общая субстанция, почва и пища, что окормляла и ныне питает и русских, и чехов, и болгар — и крепит их взаимно друг с другом и ныне. В этом смысле Ю. Венелин, которого поддерживал Погодин, открыл болгар не только самим себе, но и субстанцию русскую подкрепил. А собрание русских песен П. Киреевского было толчком-сигналом для болгар собирать свои песни и древности.

Замечательно в этих духовно-культурных сотрудничествах отсутствие имперских и геополитических амбиций — последнее — забота Питера-Петербурга: там всякие дипломатии козни-ХЫтрости. В Москве же — духовно культурная бескорыстная взаимопомощь и сострадание. В работе нашей коллеги Е. А. Дудзинской «Славянофилы и Болгарское Возрождение» приводятся слова из обращения к читателям по поводу издания «Паруса»: «Не внешнее политическое, но внутреннее духовное единство нам дорого... пусть развивается каждая из народностей вполне самостоятельно, пусть каждое племя внесет свою долю труда в общее дело славянского просвещения»². А когда М. П. Погодин написал о возможности образования славянского государства от Тихого океана до Адриатики во главе с Россией (потом Данилевский и Сталин мыслили о том же), А. И. Кошелев напечатал следующее примечание: «Мечта, к счастью, несбыточная: подобное государственное единство подавило бы духовную независимость каждого племени в отдельности. Нет! Знаменем России должен быть по нашему мнению, не панславизм, в смысле политическом, не централизация, но признание прав каждой народности на самобытное, своеобразное существование, иначе: свободный союз независимых отдель-

² Объявление об издании газеты «Парус» см. [23, кн. 4].

ных славянских племен, которого защита и охранение естественно принадлежали бы России» [23, кн. 1, с. 61]. Тут точная формулировка и для нынешних межнациональных отношений: поучиться можно.

Контакт в Москве происходил не на государственных, а именно на общественных началах. Дело в том, что в России вечная проблема — слабость Общества — как буфера между Народом непросвещенным и сверхмощным Государством вампирическим. Порабощенные же славянские народы: и чехи, и сербы, и болгары, не имея крыши своего государства, зато породили более энергичное и приближенное к народу Общество (и церковь). Там общества торговые, просветительные, училищные настоятельства: школы и культуру самочинно, не спросясь властей, собирали средства — и основывали... Не то, что государственная система просвещения в России от Уварова до Ягодина. И в этом отношении Москва имела чему поучиться у меньших братьев. А Общество сподручнее было развиваться в России именно в Москве — подальше от центрального огня власти и пекла. Тут все — самочиннее: и купцы Островские, и фрондерские издания славянофилов, что Петербург на корню прикрывал: «Европеец» Киреевского, и «Телескоп» Надеждина, и «Парус» И. Аксакова и др. Тут и Славянский благотворительный комитет и проч. Именно И. Аксаков в своей публицистике развивал идею о необходимости того, чтобы самонародное общество переняло на себя многие функции, что пока осуществляются приказом, сверху; что и стало совершаться после Реформы: земства, суды, пресса и т. д. Даже некое распределение географическое можно отметить: Петербург — Государство, Россия — Народ, Москва — Общество. Так, собственно, и далее было: здесь и Третьяковская галерея — искусство, поддержанное купечеством, здесь и Мамонтовская опера, и Московский художественный театр, Саввой Морозовым поддержанный и т. д.

Но в середине XIX в. на московские инициативы славянофилов из Петербурга смотрели косее даже, нежели на революционно-атеистические идеи «западников»...

Также и общинные основы быта и народной социально-трудовой организации, что сохранились у южных славян («задруга» и т. п.), были родственны русской общине, «миру» и «сходу».

Это объясняет ту психологическую «совместимость тканей», благодаря чему болгары уживались в Москве — и не просачивались севернее — в Питер, где сыро-промоглый климат (чахотка), студеные души и чиновно-отчужденный стиль проспектов. В Москве же неторопливый ритм, уютные усадьбы, печи, кривые переулочки, своя махалла! Патриархально-домашний дух общения, гостеприимство, застолия, радушие — все это располагало к тому, что души раскрывались навстречу друг другу, и шел взаимообогащающий обмен мыслями, идеями... Как приемные дети матушки Москвы могли себя здесь чувствовать болгары.

До сих пор мы рассматривали наш сюжет: встреча двух космо-исторических тел: России и Болгарии в середине XIX в. — по сходству: что похоже и роднит. Теперь вникнем в различия. Главное — государственная независимость России! и порабощенность болгар. Для них Россия — славянский Эдем: тут славянская речь, культура, своя вера — все на приволье, и в этом смысле Россия — будущее Болгарии. Но болгарин даже под турецким игом был хозяином собственной земли и самоактивен в экономике, в этом отношении болгарин — это будущее для русского крепостного и колхозника: в смысле хозяйственной хватки, пока — недосыгаемость нам.

Далее: сама эта громадная независимая славянская держава Россия пребывала в середине XIX в. в раздоре и поиске путей, и в неуверенности, куда идти. Да и Москва стала противоречива даже по архитектуре: «Пожар способствовал ей много к украшенью» — но на скалозубов, питерски-фрунтовой лад: проложены проспекты и петербургски-имперски-классически-ампирная стилистика проникла в усадебную Москву. Но и споры западников и славянофилов тут ярейшие шли. В разную даль каждый заглядывал. Меланхолический Агасфер-Чаадаев, как Кассандра,

предвидел Россию — как беспутную жертву мировой истории: быть может, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью», но страшную сказку, чтобы дать всем ужасный урок, как не надо жить и строить общество?.. И кажется, мы поработали хорошо в нашем веке, чтобы сбылось его апокалиптическое пророчество... Но Чаадаев — безбытен, бессемен, слабокоренен. В этом смысле антиподны ему Аксаковы — с крепкими корнями в народно-русском и семейном быту, и их мироощущение — радости в настоящем. Нельзя сказать про них, что они «оптимисты» — таковы, скорее, «западники»: Белинский, что завидовал внукам и правнукам (это нам, значит...) и Герцен, и прочие, нечуткие к настоящему, а с процессным сознанием (прогресс! эволюция!... «светлое будущее»!..).

Кстати, исторические стадии середины XIX в. напоминают наши в XX в. — и сходны проблемы для общественного сознания. Победа над Наполеоном — победа над Гитлером. Потом страна — рабыня своей победы: усиление деспотизма. Затем — смерть самодержца, оттепель короткая, восстание декабристов (и поляков, и венгров), повело на реакцию, и вот — «застой» ихних 30—40-х, наших 70-х. Но разбуженный дух уходит в глубь и подспуд — и 40-е годы XIX в. — золотая эпоха русской литературы и философии, а у нас — культурология, да и литература... Потом Крымская война — поражение — наш Афганистан. Смерть Кесаря, новая метла и Реформы 60-х — у нас Перестройка 80—90-х. И ныне клокотание общественной мысли у нас сходно с российским бурлением в начале эпохи реформ. На что ориентироваться? На Запад, индивидуализм, парламент — или искать «самобытные начала» и формы хозяйства: на колхоз-общину делать ставку? Иль на купца-«кооператора»? И такой хаос, разброд возможных форм, укладов и путей!..

Тут-то обнаруживается еще одно сходство истории России и Болгарии: что одновременно не проходили фазы и стадии общеевропейского процесса — и вот вынуждены восполнять их запоздало и стяжённо: ускоренное развитие — общий рок и России и Болгарии. Но легко это осуществлять в маленькой компактной Болгарии с чуткой обратной связью — эти шаги, а в России, что дистанция огромного размера, да еще и историческая сороконожка — по вовлеченному в ее путь многообразию регионов и народов, находящихся на разных стадиях, — как им наладиться в путь-дорогу? Одна нога делает шаг к парламентарной демократии (Прибалтика, Венгустим), а другой бы вернуться к бортничеству в тайгу и тундру (как эвенку), чтоб спасти народом. Да и инерция огромного колосса, у кого «размаха шаги сажень!» — попробуй смени направление, засмени, медведь, шагками по темпоритмам Европы! Потому катастрофами и разрывами, не плавно, а рвать пятки — таков тип доселе русского развития. Однако классы истории проходить все равно надо — с азов, а не блефовать «ускорением» и «большими скачками».

Однако до сих пор я делал выкладки в исторической сетке координат, согласно которой принимается некая единая шкала и последовательность (Гегель; шествие мирового духа через страны и народы исторические; Маркс — смена пяти общественно-экономических формаций и др.), и все частные истории народов будто обязаны в нее вписываться и клетки заполнять. Но почему? А где национально-историческая самобытность и автохтонность саморазвития каждой национальной целостности? И здесь я предлагаю метод, который называю: *Космо-софия*. Его я выработал в ходе 30-летних изучений и описаний национальных образов мира. Ему согласно, каждая национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, т. е. единство местной природы, национального характера и ментальности народа тут. Национальная природа есть Природина своему Народу — сыну и одновременно мужу. Ее он возделывает в ходе супружества Истории, а Культура, создаваемая здесь, — есть чадородие их семейной жизни. Природина есть субстанция-субъект совершаемой над нею Истории. Природа страны: равнина или горы, море или степь, лес и т. д., есть не пассивный материал в переработку, а скрижал завета: некий подсказ Народу, как тут жить-быть и что делать с нею в лад, но и в восполнение трудом того, что не дано от природы. Наука История работает причинами;

Историософия — это телеология, ищет особые цели-призвание и целесообразность. Обе — линейны, по горизонтали мировой истории единой, наземной. Космософия — видит каждую страну — как шар на вертикали земля-небо. Истории тут выходят разные. Только читаются они единым языком-методом. Это древний натурфилософский язык четырех стихий. «Земля», «вода», «воз-дух» и «огонь», понимаемые расширительно символически, суть слова этого языка, его «морфология», а его «синтаксис» — Эрос (Любовь-Вражда Эмпедоклова, притяжение-отталкивание...).

И вот по космософии Россия = мать сыра-земля, т. е. «вода-земля». И она — равнина, балто-славянский щит, бесконечный простор, по которому реденький народ-СВЕТЕР (свет + ветер) странник Русь, несется тройкой расширяться и своею немощью покрыть-колонизовать! Россию, причем истекает на этом силою: Русь — жертва России, что и видим сейчас в итоге истории: почти погибла Русь, потратя все силы на создание России-Союза. Теперь снова Руси вбираться в себя из России.

А Болгария — это чаша в Балканах вниз и вверх дном. Чаша вниз и вверх дном — это котловины ее земель между гор: Фракийская, между Средна гора и Стара Планина — Розова долина; Котел. А чаша вверх дном — «там, на Балкана», где гайдук и ветер свободны. В котловине же — земля и труд, культура и къца, семейство, быт. Там «стара майка», тежки «чорбаджи» и «чорбаджийска дъщеря» и «тежки сватби». Жена ж юнаку — самодива. Там люди воз-духа, и таковы и неслись в Россию (бессемейные, недомашние потянулись на север, ветер и снег к свободе и культуре, прочь от любви-дома, семьи. «Хайдутин къца не реди, майка не храни»).

И вот призвание Болгарии — гармония между этими чашами, свой шар блюсти в своем геополитическом средостении между Турцией и Европой, между Россией и Средиземноморьем-Элладой. Сюда все стекает и переваривается, но миссия болгарства — сидеть на месте, «самозадовляване»! Болгария — это приход (как и дружины Аспаруха), а Русь-Россия — это вечный уход-расход: от самой от себя у-бе-гу. И вот, чтоб не слететь совсем с космодрома бесконечного простора в Космос ракетой, самосохранительно себе Россия-баба второго мужика запросила: чужеземца, варяга, Запад, закон, Государство, что ее, амфорную, опояшет формою-пределом, заставой богатырскою, пограничником Карацупою да железным занавесом. Так что в русской истории три агента: Россия — мать-сыра-земля, Народ-Светер и Государство-Кесарь. Как и в русском романе при Татьяне — Онегин-демон и Генерал; при Ольге — Обломов-голубь и гордый трудяга-немец Штольц; при Анне — солдат и министр; при Ларе духовный доктор-поэт Живаго и комиссар Стрельников; при Аксинье непутевый Григорий и есаул Листницкий и т. д. И все сюжеты русской истории в этом трилоге прочитываются: Русь-Россия, Народ, Государство. В том числе и сейчас. И происходит это в поле тяготений между Востоком и Западом — занимая Север Евразии.

Ну а Болгария в середине XIX в. — какая в ней ситуация? Избыточно натекло тюркского элемента: в быт, язык, нравы, в музыку, жест и танец. Слишком налита оказалась телесность и приземленность. Греческий элемент помогал держать веру и самоотличаться от турок. Но придавлен славянский элемент: Слово, Дух, Небо. Вертикаль сверху — ее надо под-писать. И вот Балкан и Север — зов в Россию.

А горизонталь геополитическая требует ориентировки на Запад — оттуда торговля, рынок, политика, демократия. Потому болгары в Москве — это не политики, а культуртрегеры: слово славянское, литературу развивали. А кто политикой горит — те поближе вокруг Болгарии: из Румынии (Ботев), из Сербии (Каравелов: в России политикой не занимался, а был писатель), Царьграда (Раковский). И если Освобождение пришло из России, то это уж воля Империи, а не зазыв болгар московских.

Теперь мы схематично описали эти два космо-исторических тела, что вступили в контакт с болгарами и славянофилами в Москве. Ясно, что в этой сущности они очень мало могли понимать друг друга — в сущности национально-исторических проблем и призваний.

И недаром, как только Россия освободила Болгарию, та самосохрани-

тельно переориентировалась на Запад и германство: иначе бы залила та малую Болгарию своим равнинным добром: что хорошо ей — то горной Болгарии плохо. Также и русские: когда столкнулись с реальными болгарами у них дома — оттолкнулись в лице Леонтьева от этих корыстных животных и низменных торгашей: третьесословны они, все болгары, и дурно пахнут на вкус русского аристократа, как и Бай Ганю для Горького и Короленко, что отказались его печатать. Это он мог, русский барин, себе на потребу из Инсарова парсуну малевать — как человека, что нам, байбакам, скажет всемогущее слово «Вперед», — но Инсаров — маска и кукла, а не живой болгарин, так же как кукольны те «братушки», которых малевали Вазов и прочие болгарские писатели из русских...

Так и в милых отношениях болгар в Москве и славянофилов был предел непереходимый — при всем доброжелательстве не могли понять друг друга изнутри, из «я», а разве что из «ты» — друг-брат; а все более — «оно»-но: как объект интереса, симпатии, сострадания, братской помощи, даже и жертвы — но все равно без интимного трансцензуса.

Тут — как дружили Журавль и Лисица — и особенно между государствами в политических отношениях важно это понимать: что предлагаемое мое хорошее для друга и брата может быть плохо. Увы, этого не понимали после второго освобождения Болгарии Россией в 1944 г. — и стали унифицироваться. А ведь в Болгарии был развит широкими социалистами кооперативный социализм, на 25% экономика им была охвачена — СССР же залил это все государственно-бюрократическим социализмом: русскую меру, где все БОЛЬШОЕ навязали Болгарии, которая «мъничка» и «шепа земля».

Какой же урок той встречи-невстречи болгар и русских в середине XIX в.? Любовь к брату да сочетается с презумпцией непонимания: что я могу не понимать ближнего, кого люблю, и должен осаживать себя в демьяновых дарах и ноздревских поцелуях и амикошонстве. Хотя нет, это урок — от нынешней ситуации. А тогда-то как раз, можно сказать, идеальны были отношения...

*ГАЧЕВ Г. Д., д-р филол. наук,
вед. научн. сотрудник ИСБ*

СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ГРАНИЦЫ В РОМАНТИЧЕСКОЙ ДРАМЕ «БАЛЛАДИНА» СЛОВАЦКОГО

Положение художественного текста в пространстве культуры является определяющим. В зависимости от того, в центре или периферии он располагается, находятся многие его свойства. На границах культуры и жизни он приобретает одни качества, отдаляясь от них — другие. Текст может колебаться между различными областями культуры, между видами искусств. Кроме того, он и сам может оказываться пространством, рассеянным множеством границ. Они проходят через него, объединяя различные его сферы, прочерчивая их общность, создавая «плодотворные» ситуации для построения сюжета, взаимозависимости автора и героя, для развития стиля. Именно на границе, сближаясь и четко противопоставляясь, различные элементы текста вступают, как сказали бы романтики, в «химические соединения» и порождают новые формы и смыслы, обогащая текст и придавая ему объемность. «Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает» [3].

Романтики, создавшие свою грамматику культуры, отвели в ней место и понятию границы, придали ей статус категории. Понятие это входило в более общее понятие синтеза. Утверждая синтез наук и искусств, синтез отдельных видов искусств, жанров, искусства и жизни, романтики тем самым утверждали и положение границы в культуре.

На границах между искусством и жизнью рождались столь популярные в эпоху романтизма жанры исповедальной литературы, мемуары,

дневники; в поэмы и романы вклинивалась авторская исповедь. Эта же граница порождала новые стили поведения в обществе [2]. Жизнь стилизовали под роман. Общество требовало все новых книг для подражания. Неслучайно Шлегель назвал эпоху романтизма эпохой книг. «Чтение для движения романтиков — это фундаментальный акт, функция, благодаря которой происходит ассимиляция материала, необходимого романтикам для жизни и для действий» [24]. На границе искусств и наук рождалась новая философия, пронизанная художественным началом, литература, неразрывно связанная с философией. Музыка, изобразительные искусства, скульптура, искусство слова постоянно сливались, стремясь нарушить предписанные им поэтикой предыдущей эпохи — поэтикой классицизма — границы. Все виды искусств, тяготея друг к другу, создавали новый романтический театр. Между жанрами постоянно шла «пограничная война», которая зачастую завершалась организацией новых художественных пространств, какими были многие романтические драмы.

Романтическая драма неслучайно часто именуется драматической поэмой — она колеблется между искусством слова и искусством сцены, может быть прочитана и может быть поставлена. Кроме того, в ее структуре всегда большую роль играет музыка; речь идет не о музыкальных вставках, а о принципах музыкальной композиции. Границу между музыкой словом, сценическим жестом трудно провести — в романтической драме основным законом является закон их слияния в неразрывное целое, действует тенденция к созданию единой целостности, в которой трудно отделить друг от друга ее составляющие. При этом драма как целое, как творческий акт (М. М. Бахтин) неодинаково активна во всех своих сферах. Явно наблюдается повышение ее «художественной активности» в области границ между ее составляющими.

Положение границы как категории, организующей художественное пространство романтической драмы, можно показать на примере «Баллады» Ю. Словацкого, состоящей из многочисленных пересечений отдельных зон — зон жанра, языка, сюжета, мифа, истории. Максимально близко подходя друг к другу, сливаясь и заходя в «чужое» пространство, они порождают подлинную романтическую драму.

В «Балладине» просматриваются явные межтекстовые связи — вся драма построена на принципе литературности. Многочисленные цитаты на уровне слова и сюжета очерчивают пространство культуры, в которое поэт намеренно поместил свою драму. Ариосто и Шекспир, Кохановский и Байрон, Мицкевич, театр эпохи барокко (Кальдерон и П. Барыка), сентиментальная поэзия и романтическая опера, польская историческая трагедия — к ним Словацкий протягивает линии, идущие от центра, ядра романтической драмы. Ариосто определил ее модус — Словацкий назвал «Балладину» ариостовской эпопеей, писал, что она сияет ариостовской легкой улыбкой, подобна ариостовским облакам. Непосредственно с поэмой Ариосто «Балладина» не вступает в контакт, нигде не пересекается, цитата не выявляет их близость, но имя Ариосто, не раз упоминаемое — ключ, отсылка к грамматике, по правилам которой создается и должен восприниматься текст. Это грамматика иронии, игры и свободы.

Шекспир, этот гений театра и природы, как его называли романтики, непосредственно повлиял на строение сюжета «Баллады». Словацкий намеренно открыто сближает «Балладину» с творчеством великого драматурга, цитирует «Макбета», «Сон в летнюю ночь», «Короля Лира», «Бурю». Эти цитаты выстраивают пространство «Баллады», создают поле аллюзий. Они свободно вступают во взаимодействие и с балладой, и с другими элементами, из которых соткана «Балладина».

Линия Гопланы — Грабца повторяет схему отношений Титании и Основы; слуги Гопланы — линию эльфов из «Сна в летнюю ночь» или Ариэля из «Бури». Призрак Алины на пиру появляется подобно призраку Банко (III, 4. «Макбета»). Как короля Лира прогоняют неблагодарные Гонерилья и Регана, так и Балладина выставляет из замка Мать. Как Лир, она в припадке безумия блуждает по лесу. В этом эпизоде Словацкий создает ва-

риацию на классическую тему. Сцена убийства Грабца — еще одна цитата из «Макбета». Король Грабец и король Дункан убиты хозяином (хозяйкой) замка ночью, преступление открывает путь к трону. Все эти шекспировские цитаты, якобы нарушающие оригинальность романтической драмы, на самом деле указывают на мировую культуру, с которой романтический поэт соотносит свое произведение. Эти межтекстовые связи, проходящие на границе оригинальности и подражания, ориентируют польскую драму в целостном тексте европейской культуры.

Линия Сервантеса и Кальдерона, пропущенная через польский барочный театр дала один, но знаменательный эпизод: мужик-король. Грабец становится королем благодаря чудесным манипуляциям Гопланы, сначала королем-шутком, бубновым; затем и настоящим королем — благодаря волшебной короне. Так барочная комедия мощно подпирает здание романтической драмы. Король-шут, посланец смеховой культуры, перевернутого мира нарушает границы, вторгается в трагедию, в которую уже превратилась «Балладина», и создает ее новые очертания.

Великий Байрон отмечен только одной, но значимой цитатой о лаврегромоотводе в эпилоге драмы. Только однажды цитируется и «Волшебный стрелок» Вебера, самая популярная романтическая опера. Эта цитата разрослась в эпизод и подвела «Балладину» к границе оперы, тем более, что в ней есть и другие музыкальные номера. Даже кульминационный момент — раскрытие преступной тайны главной героини — совершается в музыке.

Словацкий цитирует Мицкевича на грани пародии в эпизоде с Филоном, который повторяет слова и жесты Густава из IV части «Дзядов». Этот же персонаж цитирует сентиментальную лирику, смыкая границы романтической драмы-трагедии и пародии. Баллады Мицкевича также проступают в «Балладине», и линии Гопланы и Грабца, в некоторых свернутых сюжетах-цитатах.

Линия Балладина — Кострин цитирует, явно снижая, популярный сюжет о Ванде, которая не хотела немца и бросилась в Вислу. Словацкий переворачивает излюбленный польским театром сюжет исторической мифологии, снимает закрепленное за ним значение, заставляя этот эпизод балансировать на границе собственно исторического мифа, популярной театральной темы и собственно трагедии, причем в шекспировском духе.

Так, «Балладина», гранича с комедией и трагедией барокко, намечая цитатами из Мицкевича, Байрона, Вебера, современного Словацкому театру собственно романтические измерения, играя через паракитаты из Кохановского с историей, оказывается на рубеже барокко и романтизма, повседневной романтической культуры (любимый поэт эпохи — Байрон, любимый композитор — Вебер) и высокого романтизма, включается в литературные споры эпохи: сентиментализм — романтизм.

Итак, культурное пространство, в которое поэт вводит Балладину, очерчено. Границы, в которых существует текст в литературе — заданы. Но не одна литература с ее ключевыми фигурами, относящимися не только к романтизму, создавала художественный мир «Балладины». Как подлинный романтик, Словацкий осознавал значимость пограничья между фольклором и литературой, необходимость фольклора как питательной среды для культуры нового типа, какой был романтизм.

«Балладина» соприкасается с вторичным, олитературенным фольклором, т. е. таким, который колеблется на границе между собственным пространством и пространством литературы. Будучи перемещен уже за границы литературы, он не потерял своих свойств и занял в новых пределах особое положение: остался самим собой, но и вобрал в себя то влияние, которое оказывала на него литература, стараясь превратить его в себе подобное. Наибольшее воздействие литературы в эпоху романтизма пережила баллада, превратившись в балладу литературную. Это жанр, который сочетает в себе эпос, лирику, драму. Обратившись к балладе, Словацкий таким путем пересек пространство фольклора и литературы, нарушил границы трех видов поэзии. Свое обращение поэт зафиксировал в названии драмы и имени главной героини — Балладина. Естественно,

что в театре Словацкий не мог остаться в границах баллады и начал процедуры по скрещиванию ее с драмой. Это был не литературный эксперимент, а поиски синтеза, которые бы позволили, разомкнув пределы театра, ввести в него балладу. Они завершились успехом, и драма приобрела явную балладность, или, можно сказать, что драматизировалась баллада.

Обратившись к балладе, Словацкий не только воспроизвел ее фольклорную основу, но и цитировал Бюргера, Мицкевича, А. Ходзько. Он не ограничился сюжетом баллады о двух сестрах и баллады о русалке, но ввел, в виде свернутых цитат, мотивы затопленного города, дикого охотника, превращения в дерево. Переложение баллад на язык сцены выводит драму за отведенные ей пределы, раздвигает сюжетное пространство, расширяет его. На границе баллады и драмы рождается качественно новое произведение — поэтическая драма романтизма. Между балладами о двух сестрах и о русалке нет четкой границы. Баллада о сестрах предсказана балладой о русалке. Персонажи баллады о русалке вторгаются в пространство баллады о двух сестрах.

В «Балладине» баллада встречается с трагедией. Трагедия ее не нарушает. Как всякая фольклорная форма, баллада непроницаема для нее. Трагедия просто следует за балладой. Их граница, кстати, отмечена уничтожением художественного пространства баллады: в огне рушится хижина, где протекало балладное действие. Баллада и трагедия расположены по обе стороны от интермедии с Грабцем. Но трагедия, как известно, внутренне связана с балладой, а баллада зачастую имеет трагическое звучание. Следовательно граница между ними не столь резкая. Между балладой и трагедией есть и серьезные схождения. Если трагедия в «Балладине» не нарушает балладу, то баллада вторгается в трагедию и только в ней, собственно говоря, завершается.

В «Балладине» граничат между собой история и природа. Природе отведена баллада, истории — трагедия. На границе их рождается еще один жанр — не драматическая, а стихотворная баллада, которая предсказывает движение драматического сюжета, управляет им.

Значимы границы и для характеристик персонажей. Так Гоплана из русалки, всегда стоящей на грани двух миров, безнадежно влюбленной в простого смертного, превращается в олицетворение Природы. Она расширяет отведенные ей границы в сюжете и, кроме того, сочетая черты литературной и фольклорной русалки, оказывается объектом романтической иронии. Балладина, преступая границы баллады, вырастает в героиню трагедии, но не замирает в этом статусе, ибо ирония размывает трагедию. Превращаясь в героиню трагедии, она не теряет балладных черт, не меняет своей сущности, но высвобождается из прежних рамок, полностью реализуясь как истинно романтический персонаж. То же можно сказать и о других персонажах.

Сталкивая в пределах одного произведения различные жанры, балладу и трагедию, Словацкий заставляет граничить фольклор и литературу. Их сближение, постоянное взаимное нарушение границ, отход в свои пределы, и вновь возврат обеспечивают драме подлинно романтическую природу. Романтики превыше всего ценили движение, и с особым вниманием относились к колебанию как к его частному проявлению.

Итак, Словацкий нарушил временные границы, сдвинув XVII и XIX в., преднамеренно не замкнул «Балладину» в современных ему границах культуры. Он как бы вытянул наружу корни этой культуры и дал им равные права с тем, чему они дали возможность прорасти. Как сказал бы М. М. Бахтин, он поместил драму в «большое время». Словацкий построил драму как пограничное, напряженное состояние между трагедией и балладой, постоянно балансировал на границах этих жанров, а также на рубеже фольклора и литературы. ||

*СОФРОНОВА Л. А., д-р филол. наук,
зав. сектором историко-культурных проблем ИСБ*

[СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ]

1. *Бахтин М. М.* Автор и герой в эстетической деятельности. — Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 177.
2. *Style rachowań vomantycznych.* Warszawa, 1981, s. 232—233.
3. *Бахтин М. М.* Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве. — Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 25.
4. *Анна Ахматова.* Поэма без героя. Сост. Р. Д. Тименчик. М., 1989, с. 224.
5. *Eliade M.* L'agnelle voyante. — In: *Eliade M.* De Zamolxis à Gengis-Khan. Paris, 1970.
6. *Друскин Я.* «Чинари». — Аврора, 1989, № 6.
7. *Липавский Л.* Из разговоров чинарей. — Аврора, 1989, № 6, с. 128.
8. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 7. Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1980.
9. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Т. I. М., 1986, с. 468.
10. *Bauer W.* Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. Berlin — New York, 1988.
11. *Thesaurus linguae latinae, vol. VI/2.* Leipzig, 1934, S. 2165.
12. *Мурьянов М. Ф.* Сила (понятие и слово). — Этимология 1980. М., 1982, с. 50—56.
13. Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Л., 1926, с. 84.
14. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 4. М., 1977, с. 149—150.
15. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 15. М., 1989, с. 208—209.
16. *Погорелов В. А.* Чудовская Псалтырь XI в. СПб., 1910, с. 107.
17. *Будилович А.* XIII Слов Григория Богослова в древнеславянском переводе. СПб., 1875, с. 80.
18. *Lampe G. W. H.* Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1982, p. 306.
19. *Eustratiades S.* Heirmologion. Chennevières-sur-Marne, 1932, p. 92.
20. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 1. Bd. Bern — München, 1959, S. 476—477.
21. *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. T. 1. Paris, 1959, p. 282—283.
22. *Lehmann W. P.* A Gothic Etymological Dictionary. Leiden, 1986, p. 217.
23. Русская беседа, 1859.
24. *Zempicki Z.* Renesans, Oświecenie, Romantyzm i inne studia z historii kultury. T. I. Kraków, 1966, s. 350.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Ангелов Д., Чолпанов Б.* Българска военна история: От втората четвърт на X до втората половина на XV в. София, 1989, 314 с., 25 л. ил.
- Антология сръпске боемске поезије / Уред.: Борђевић Ч. Титово Ужице, 1989, 264 с.
- Воровић В.* Историја Срба. Београд, 1989.
- Брачански С.* Съчтения: в 2 т. / Текстове са подбрани, разчетени и подготвени за печат от Алексиева А. и др. София, 1989.
- Добрев Ч.* Поетични светове: Лит. портрети. София, 1989, 245 с.
- Документи по истории балканских стран в фондах ЦГА СССР: Справочник. М., 1990, 71 с.
- Желязкова А.* Разпространение на исляма в западнобалканските земи под Османска власт: XV—XVIII век. София, 1990, 264 с.
- Единство на българската фолклорна традиция. / Съст: Живков Т. Ив. София, 1989, 507 с., 4 л. ил.
- Зарев П.* История на българската литературна критика. София, 1989.
- История на новобългарския книжовен език / Георгиева Е., Жерев С., Мурдаров В. и др. София, 1989, 541 с.
- Каймакамова М.* Българска средновековна историопис: От края на VII — до първата четвърт на XV в. София, 1990, 204 с.
- Карел Чапек в воспоминаниях современников (пер. с чеш.). / Сост. и примеч. Малевича О.; Предисл. Никольского С. М., 1990, 543 с., 9 л. ил.
- Константин Филозоф.* Повест о словима: Сказаније о писменех. Изводи. Житије деспота Стефана Лазаревића. Београд, 1989, 160 с., ил.
- Международен симпозиум «1100 години от блажената кончина на св. Методий» / Църковноист. и арх. ин-т при Бълг. патриаршия. Духовна акад. «Св. Климент Охридски». София, 1989.
- Орлова М. А.* Наружные росписи средневековых памятников архитектуры: Византия, Балканы. Древняя Русь. М., 1990, 240 с., ил.
- Османская империя: Гос. власть и социал.-полит. структура / Отв. ред. Орешкова С. Ф. М., 1990, 337 с.



ПОЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ НА ЗАПАДЕ И В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ: ОПЫТ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОБЗОРА¹

Соединение в одной статье двух тем, каждая из которых, бесспорно, заслуживает самостоятельного и еще более дробного рассмотрения [1—4], делается вполне сознательно. Слабое знание западных исследований по истории славянских стран не только не позволяет иметь адекватное представление о зарубежной славистике, но и серьезно затрудняет столь необходимый сегодня выбор перспективных направлений приложения наших собственных научных сил. Десятилетия взаимного отчуждения советских историков и ученых капиталистических стран продолжают отрицательно сказываться на начавшемся процессе налаживания нормальных, деловых контактов между ними. Все это заставляет заниматься сопоставлением сильных и слабых сторон разноязыкой исторической науки, частью которой является (о чем мы долгое время, к сожалению, забывали) и советская школа славистических исследований.

Хотя внутренняя структура восточноевропейских исследований, ведущихся на Западе, — их преимущественно филологический характер, преобладание проблематики России и Советского Союза, приоритетная ориентированность на современность — казалось бы, не благоприятствует изучению польской истории, масштабы научной и популяризаторской работы в этой области чрезвычайно впечатляющи. Составитель внушительной по размерам выборочной библиографии англоязычных исследований по польской истории и культуре Н. Дейвис [5] имел серьезные основания для недовольства, когда по вине издателя произошла задержка с ее публикацией: англо-американский книжный рынок так стремительно насыщался новыми работами по Восточной Европе, что в короткий срок указатель начал устаревать [6, 1977, № 4, р. 512]. Достаточно сказать, что за неполные двадцать лет, прошедших с момента основания в США серии «Восточноевропейские монографии», только в ее рамках опубликовано свыше 250 томов, несколько десятков которых посвящены истории Польши. В основном это труды историков, еще не приобретших громкого имени в науке. Среди тем: Люблинская уния; преобразования в Речи Посполитой в 70—80-е годы XVIII в.; польские легионеры на Гаити; польская политика Александра I; эмиграция в польской общественно-политической мысли; история «Великого Пролетариата»; прусская часть Польши в последней трети XIX в.; школьные забастовки начала XX в.; польско-канадские отношения; советско-польская война 1920 г.;

Горизонтов Леонид Ефремович — канд. ист. наук, младший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ В основу статьи положен доклад автора на Всесоюзном совещании историков-полонистов «Актуальные задачи изучения истории Польши, российско-польских и советско-польских отношений» (январь 1989 г.).

польская дипломатия и разведка накануне второй мировой войны; польское подполье в период гитлеровской оккупации; взаимоотношения церкви и государства в послевоенной Польше. Специальных исследований удостоены исторические деятели: король Людовик Анжуйский, И. Лелевель, Б. Лимановский, Р. Дмовской. Есть в серии и книга под названием «Содержание и цели польской истории» [7].

Заметной вехой в западной полонистике стал кризис в Польше в 80-е годы. Его воздействие на динамику исследований в СССР и капиталистических странах прямо противоположно: в то время как у нас под бдительной опекой перепуганной цензуры в первой половине 80-х годов полонистика явственно агонизировала, на Западе наблюдался ее бурный подъем. Новым явлением становится своего рода бестселлеризация польской темы — выход информации по истории этой страны на массовую аудиторию. Бестселлерами в прямом смысле этого слова были, в частности, книги британского историка Н. Дейвиса «Божье игрище. История Польши» [8] и американского беллетриста Дж. Миченера «Польша» (см. [9]). Многомиллионную аудиторию собрал девятисерийный документальный фильм «Борьба за Польшу», освещающий ее историю с 1918 по 1980 гг., — совместная работа сценаристов, консультантов и кинематографистов Великобритании, США, ФРГ. Как сообщалось в печати, право на показ ленты было приобретено еще семью странами, включая Японию (см. [10]).

На примере изучения польской истории хорошо видно, сколь далеко зашел процесс интернационализации исторических исследований. Практически любой значительный вопрос, с какой эпохой он бы ни был связан, как правило, имеет солидную историографию на нескольких языках. В самый скупой перечень крупнейших историков-полонистов попадут американец П. Вандыч, англичанин Н. Дейвис, канадец П. Брок, француз Д. Бовуа и западный немец Г. Роос. Начатый список можно довольно долго продолжать не менее известными именами, научными центрами и изданиями, причастными к исследовательской разработке и популяризации истории Польши. Не касаясь многочисленных центров, в которых польскими сюжетами занимаются наряду с ведением другой восточноевропейской страноведческой проблематики, назовем хотя бы секцию истории немецко-польских отношений при Исторической комиссии Западного Берлина, Немецкий институт Польши в Дармштадте, «польскую серию» монографий, выпускаемую Национальным институтом славяноведения во Франции. Особый взгляд на польскую историю нетрудно обнаружить, имея дело с печатной продукцией западногерманских землячеств переселенцев или украинских институтов, созданных в Северной Америке.

Основная часть сугубо полонистически профилированных институций и журналов самым тесным образом связана с польской политической эмиграцией. На волне так называемой сентябрьской эмиграции, берущей свое начало в трагических для Польши событиях второй мировой войны, в 40—50-е годы сложилась по сей день функционирующая система исследовательских центров, специализирующихся на разработке национальной истории. Наиболее крупными из них являются Польский институт искусства и науки в Америке, Польское историческое общество в Великобритании, Польский литературный институт во Франции, институты Пилсудского по исследованию новейшей истории Польши в США и Великобритании, Исторический институт имени генерала Сикорского в Великобритании, Польский исторический институт в Риме. В начале 50-х годов было создано Польское историческое общество на чужбине, призванное координировать деятельность всех перечисленных выше учреждений.

Польский институт искусства и науки, имеющий свою штаб-квартиру в Нью-Йорке, походит скорее на научно-культурное общество, чем на исследовательский институт в нашем понимании. Он был образован в 1942 г. как ассоциация ученых, временно исполняющая функции краковской Академии знаний, и после окончания войны его предполагалось положить в основу возрожденной польской Академии. Проявляя большую активность, ньюйоркский центр польских ученых предпринял также

в первой половине 40-х годов попытку реанимировать довоенную Федерацию исторических обществ Восточной Европы. Последующие политические перемены сделали оба намерения неосуществимыми, институт так и не покинул территории Соединенных Штатов. Членство в нем не ограничено ни гражданством, ни любыми другими анкетными данными и обусловлено лишь наличием полонистических работ, представляющих интерес с точки зрения руководства института, а также уплатой ежегодного взноса. Институт носит полидисциплинарный характер и наряду с историками объединяет литературоведов, лингвистов и деятелей культуры. Уже более сорока лет в Нью-Йорке издается журнал «The Polish review», первое время выходивший под названием «The bulletin of the Polish Institute of arts and science in America». Этот практически единственный орган эмигрантских центров, выпускаемый на английском языке, может быть полезным для весьма широкого круга историков-полонистов [11].

Польское историческое общество в Великобритании возникло в 1946 г., тогда же увидел свет первый номер журнала «Teki historyczne», ставшего вскоре одновременно органом Польского исторического общества на чужбине. Такое совмещение едва ли случайно: именно в Великобритании со времен второй мировой войны находится центр польской политической эмиграции. С самого начала отказавшись от освещения новейшей истории [12], журнал в целом сохраняет приверженность проблематике средних веков и нового времени, что, впрочем, не мешает ему вести острую полемику с историографами Польши и СССР. Польское историческое общество в Великобритании объединяет несколько десятков членов, меньшинство которых профессионально владеют вопросами истории и выступают в научной печати.

Институты Пилсудского в Лондоне и Нью-Йорке продолжают в эмиграции деятельность варшавского Института по исследованию новейшей истории Польши, созданного в начале 20-х годов и после смерти Пилсудского названного его именем. В прошлом в их планы также входило возвращение на родину. Поле деятельности институтов практически ограничено хронологическими рамками конца XIX — первой трети XX в. — периодом, на который пришлась политическая биография маршала. Институты издают ежегодник «Niepodległość», довольно слабый в научном отношении, но небезыңтересный благодаря публикациям мемуаров и других материалов пилсудчиков. Кроме того, они располагают собственной архивной базой.

Возникший в 1945 г. Исторический институт имени генерала Сикорского возобновил издание военно-исторического журнала «Bellona». Чрезвычайно богат архив Института, хранящий как обширную подборку материалов времен второй мировой войны, так и документы внешне-политического ведомства, вывезенные на Запад в 1939 г. В их числе находятся источники, содержащие сведения о ходе переговоров между Польшей и Советской Россией в 1918—1920 гг. Среди издаваемой Институтом Сикорского печатной продукции выделяется многотомная серия «Польские вооруженные силы во второй мировой войне» (см. [13]).

Польский литературный институт в Париже является центром эмигрантской науки с наиболее почтенными возрастом и традициями: его создание датируется еще XIX в. В настоящее время общественно-политическое лицо Института определяет журнал «Kultura», в качестве исторического приложения к которому издается журнал «Zeszyty historyczne». Это, вне всякого сомнения, самый содержательный эмигрантский журнал по истории Польши XX в. С 1962 г. на его страницах публиковались многочисленные исследовательские статьи, эссе, источники, рецензии, как правило, трактующие то или иное «белое пятно» новейшей польской истории.

Вполне академичной представляется деятельность Польского исторического института в Риме. Правда, ему свойственна тенденция, обусловленная приписыванием Польше роли форпоста европейской христианской цивилизации. В этом смысле следует толковать название печатного

органа Института «Antemurale» (от лат. *antemurale* — наружный крепостной вал). Римский центр носит выраженную католическую окраску и связан с апостольским престолом [14, 1976, z. 38, s. 156—162]. В «Antemurale» можно найти главным образом труды по средневековой и новой истории, а также литературоведческие исследования. Как и их коллеги-соотечественники в других западных странах, римские историки не пренебрегают местными архивами. Многие выявленные ими документы публикуются в специальной серии «Elementa ad Fontium Editiones», на большую научную ценность которой указывают медиевисты [15, 1987, № 1, s. 87, 95].

Центры польской исторической науки в эмиграции различаются как сферой научных интересов, так и углом зрения на предмет своих занятий. Общим и определяющим является то, что политически, историографически и отчасти даже организационно они продолжают основные традиции исторической науки межвоенной Польши. Нацеленность большинства историков-эмигрантов на конфронтацию с марксистской разработкой национальной истории сближала их с определенными кругами западных полонистов [16], тогда как попытки воскресить порой отнюдь не лучшие черты науки 20—30-х годов заставляла многих ученых относиться к «историографии на чужбине» с изрядной долей недоверия. Поэтому едва ли правомерно говорить о полной и органичной интеграции эмигрантской науки в общую структуру западной полонистики, хотя десятилетия их сосуществования знают примеры довольно тесного взаимодействия. Так, Институт в Риме целенаправленно открывал страницы своего издания для публикации диссертаций британских и американских полонистов [14, 1976, z. 38, s. 157—158], Польское историческое общество в Великобритании в середине 50-х годов завязало оживленные контакты с исследователями из ФРГ, в особенности находя взаимопонимание с западногерманскими историками молодого поколения [14, 1964, z. 6, s. 203—216]. Интересно заметить, что сотрудничество между историками Польши и ФРГ удалось наладить только 15 лет спустя: для этого потребовалось государственно-политическое урегулирование [17].

Уже давно перестали быть редкостью призывы к обновлению эмигрантской историографии «сентябрьской волны». По мнению К. Окулича, для повышения авторитета ее центров на Западе необходимо, преодолев «сеймиковые амбиции», покончить со взаимным соперничеством и придать публикациям сугубо научный характер. «Исторические институты, — замечал он, — должны быть не часовнями, возведенными в честь отдельных заслуженных личностей или партий, а изучать определенные исторические эпохи. Лишь тогда в результате борьбы различных добросовестных и серьезных точек зрения могут сформироваться приближающиеся к исторической истине оценки. Исторические институты должны широко открыть свои двери для всех исследователей доброй воли, не одержимых какой-то навязчивой идеей, прежде всего для ученых..., которые в своей работе руководствуются научными методами» [14, 1978, z. 43, s. 11—15].

Надо сказать, что этот и подобные ему призывы не имели серьезных последствий. Применительно к 70—80-м годам можно с полным основанием говорить о глубоком кризисе эмигрантской историографии «сентябрьской волны», ставшем особенно ощутимым после ухода из жизни ее организаторов и корифеев — О. Халецкого, М. Кукеля, В. Побуга-Малиновского, Т. Комарницкого, Л. Кочи. Внешними проявлениями упомянутого кризиса стали значительное сокращение численности участников конференций ученых-эмигрантов, неуклонное старение контингента их организаций, нарушение периодичности выхода в свет печатных органов из-за нехватки подписчиков (исключение составил «The Polish review», оказавшийся в наибольшей степени открытым для авторов и читателей — непольяков).

Молодые историки польского происхождения, получившие образование в западных университетах, активно вливаются в ряды не отмеченной «эмигрантской печатью» западной полонистики [15, 1976, № 3, s. 615]. Сами эмигранты признают, например, что выросшее на Западе новое по-

коление поляков гораздо менее привержено культуре Пилсудского, нежели их сверстники в Польше [14, 1978, z. 43, s. 12]. В определенной степени научная натурализация задерживается благодаря новым волнам политической эмиграции. Большую активность проявляет немногочисленная группа историков (Ю. Левандовский, П. Кожец и др.), уехавших из страны на рубеже 60—70-х годов. По словам И. Ендрушчака, она «состоит преимущественно из лиц, которые в свою бытность в Польше, особенно в пятидесятые годы, пропагандировали крайне догматический марксизм» [15, 1987, № 1, s. 224]. Разумеется, с тех пор их взгляды решительным образом изменились.

Кожец опубликовал весьма интересный критический анализ послевоенного развития польской историографии, подчеркнув благоприятное влияние на нее политической нестабильности в стране [14, 1971, z. 20, 1972, z. 22, 1973, z. 23—25]. Левандовский, ставший одним из ведущих авторов «*Zeszytów historycznych*», выступил на страницах журнала с критикой «*Teki historyczne*». По его мнению, редакция совершает тяжкую ошибку, устранив от обсуждения политически острых вопросов новейшей истории Польши [14, 1973, z. 23, s. 217—220]. Всегда непростая, нечуждая фракционной борьбы научная жизнь польского зарубежья еще более усложнилась в связи с новой волной эмиграции, вызванной последним польским кризисом. «Несмотря на глубокие реверансы эмиграции военных лет в сторону эмиграции „Солидарности“, — пишет в статье „Историк на чужбине“ Т. Вырва, — между ними нет тесного контакта и в действительности это две разные эмиграции» [14, 1986, z. 78, s. 9]. Налицо, таким образом, несколько различных политических и историографических формаций, представителям которых зачастую трудно найти общий язык по проблемам национального прошлого.

В пестроте печатной продукции капиталистических стран, затрагивающей историю Польши, заметны две закономерности. Очевидно, во-первых, особое внимание к национальным отношениям, национальному аспекту общественной мысли, национально-территориальным противоречиям. Американский полонист Н. Неймарк, критикуя своих западных коллег, даже заявил в конце 70-х годов, что «вся история польского марксизма была принесена ими в жертву идолу польского национализма» [6, 1978, № 2, p. 238]. Констатация Неймарка получила поддержку другого полониста из США, С. Бледжваса [18]. Во-вторых, голос западных авторов остается решающим в проблематике «белых пятен», к разработке которой историки восточноевропейских стран получили доступ совсем недавно. В качестве примера можно указать на библиографию катынского дела, изданную в 1976 г. в Лондоне [19].

Понятно, что в нескольких фразах нельзя дать оценку качественному уровню издаваемой на Западе полоники. Наряду с оригинальными исследованиями виден немалый слой весьма поверхностных публикаций, на которых сказалась удаленность авторов от архивных источников либо зависимость от той или иной политической тенденции. В славистике неславянских стран, однако, уже сложился определенный стандарт, предъявляемый критикой к трудам по истории. Если раньше, особенно до войны, благоприятный отклик рецензентов обеспечивал сам факт появления работы об экзотической стране, то в настоящее время непременными условиями успеха публикации стали солидная источниковая основа, ориентация в историографии вопроса, самостоятельное концептуальное осмысление материала. Порою более терпимыми бывают оценки продукции невысокого качества со стороны польских историков, видящих даже в ней полезный канал знакомства западной аудитории со страной.

Учитывая опыт послевоенных лет, легко рассуждать о противостоянии полонистики западных и социалистических стран, прежде всего советской. Плодотворнее уяснить, что же их объединяет и в недалеком будущем может стать основой сближения. На наш взгляд, именно объединяющее начало, несмотря на все исторически обусловленные различия, сейчас объективно превалирует.

Выполняя роль своеобразной научной метрополии, польская истори-

ческая наука, открытая и плюралистичная, бесспорно, одна из самых динамично развивающихся в Восточной Еврспе, оказывала и оказывает огромное влияние на западную полонистику. В 1984 г. в Пельше была переведена книга о Варшавском восстании работающего в Англии Я. Чехановского, которая по своей концепции мало отличается от монографий, написанных на эту тему историками ПР [20]. Британский полонист Р. Лесли склонен придерживаться оценок, свойственных польской исторической науке 50-х годов, и его последнюю работу [21] польские рецензенты называли «нашей вчерашней и позавчерашней историографией» [22]. Оппонент Лесли Н. Дейвис, весьма резко высказывающийся в адрес исторической науки Польши и одновременно широко печатающийся там, как было убедительно показано в многочисленных рецензиях на его «Божье игрище», также находится под несомненным влиянием концепций польских историков [4, с. 50—51]. Нормальным явлением стало то, что водоразделы пролегают не столько между национальными историографиями, сколько внутри каждой из них, делая единомышленниками ученых различных стран.

О серьезности научных намерений западных полонистов свидетельствуют две статьи П. Вандыча, несколько лет назад опубликованные на страницах польской печати [23, 1985, № 38, 1987, № 23]. Уже сами их названия — «Лаборатория истории: Польша, Чехословакия, Венгрия» и «О историческом единстве Центрально-Восточной Европы» — говорят о стремлении автора изучать польскую историю в региональном контексте. Сходная мысль является стержнем доклада президента Американской ассоциации содействия славянским исследованиям Ч. Елавича, с которым он выступил перед славистами США в 1987 г. «Наша научная область получит то признание, какого она по праву заслуживает, — утверждал президент, — если мы сможем показать значение единства нашего региона, если мы сможем изучать его под углом зрения присущих ему уникальных особенностей» [24]. В рамках «Восточноевропейских монографий» в последнее время выделилась особая подсерия «Восточноевропейское общество и война», в которой в нескольких хронологических срезах дана широкая панорама региона, а польский материал использован наряду с другими страноведческими данными. Иными словами, двигаясь вполне самостоятельно, точнее сказать обособленно, советская и западная историография пришли к сходным результатам.

Существуют области, в осмыслении которых историческая наука западных стран превосходит нас по своему методологическому уровню. К ним, на наш взгляд, относится изучение прошлого общественной мысли и популярная сейчас модель исторического своеобразия регионов с запоздалым, деформированным развитием, известная также как теория модернизации или теория эшелонов. Небезынтересно отметить, что методологические разработки внедряются иногда быстрее в польской историографии, чем в западной славистике, и надо признать, что это только усиливает историческую науку Польши. За рубежом широко используются также подходы, которые в советской исследовательской практике являются пока еще редкими исключениями (например, целостное рассмотрение истории империи Габсбургов [25]).

Несмотря на то, что во многом почва для плодотворного сотрудничества уже подготовлена, прямой диалог западной и советской полонистики еще не получил должного развития. Причем невнимание друг к другу — общий грех обеих сторон, ибо и на Западе зачастую предпочитают не замечать то ценное, что вносят в науку советские полонисты. В СССР же сами понятия «советология» и «остфоршунг», обозначающие отнюдь не политическую направленность проводимых на Западе исследований, а лишь их предметную область, только начинают освобождаться от прежнего однозначно негативного оттенка.

Насколько можно судить, советские специалисты, к сожалению, занимают достаточно скромное место в мировой полонистике с господствующей в ней тенденцией к интеграции, в оживленном диалоге историографий. Правомерно задаться вопросом, почему невелико внешнее воздействие научной продукции более чем двухсот историков-полонистов, ра-

ботающих в настоящее время у нас в стране? Анализ данных нового библиографического словаря «Славяноведение в СССР», подготовленного к печати сектором историографических проблем Института славяноведения и балканистики АН СССР, и сведений, поступивших в оргкомитет Всесоюзного совещания историков-полонистов (январь 1989 г.) с мест, позволяет получить достаточно полное представление о тематике советских полонистических исследований.

Примерно равное число историков — по 50—60 человек — занято изучением эпохи феодализма (до разделов Речи Посполитой), нового времени, межвоенного двадцатилетия и послевоенного периода.

Довольно разнопланова по своей проблематике полонистическая медиавистика. Правда, заметно преобладание работ по социально-экономической истории, причем выделенных преимущественно на материале восточных земель Речи Посполитой. Особенно часто советские исследователи обращаются к анализу барщинно-фольварочного хозяйства и средневекового города. Изучается народно-освободительное движение украинцев и белорусов. В то же время, как отмечено в рекомендациях Всесоюзного совещания, практически не исследованы ни социальная психология его участников, ни идейно-политический облик тех слоев украинского и белорусского общества, которые не разделяли целей борьбы [26, с. 30]. Значительная группа ученых занимается международными отношениями в Восточной Европе. Есть специалисты по культурным связям, и все же широкий спектр проявлений духовной жизни этнического и конфессионального пограничья обеспечен ими недостаточно.

В разработке новой истории первенство безраздельно принадлежит изучению шляхетского национально-освободительного, рабочего и социал-демократического движений, составляющих основную специализацию более двух третей данной группы ученых. При этом необходимо существенное уточнение: в их поле зрения находятся прежде всего радикальные течения [3, с. 60—61] (одно из немногих исключений [27]). Чрезвычайной популярностью пользуется проблематика революционных связей. Гораздо в меньшей степени исследуются социально-экономический, идейно-политический и социокультурный аспекты эпохи, а также польская политика держав, в состав которых вошли земли разделенной Речи Посполитой.

В многочисленных трудах по межвоенному периоду на первом плане — влияние Октябрьской революции на судьбы польского народа, рабочее, коммунистическое, антифашистское движения. В соответствующих союзных республиках вне всякой конкуренции поставлено изучение истории КПЗУ и КПЗБ. Из других более или менее различных направлений назовем разработку аграрных отношений в межвоенной Польше и ее внешней политики.

Годами войны занимаются приблизительно полтора десятка исследователей, половина которых пишут о советско-польском боевом сотрудничестве. Имеются специалисты по некоторым аспектам движения Сопротивления, политике фашистской Германии на польских землях. Непропорционально малое внимание обратили на себя чрезвычайно сложные советско-польские государственно-политические взаимоотношения. Как и в работах о событиях 1918—1939 гг., при выборе тематики исследований о войне до самого последнего времени всячески избегались болевые точки общей истории СССР и Польши.

Специалисты по послевоенной Польше концентрировались в основном на вопросах социалистического строительства: в большей части работ речь шла об индустриализации и рабочем классе, в меньшей — об аграрной политике и культурной революции, совсем скупо освещена политическая борьба вокруг пути развития страны. Опубликовано впечатляющее число исследований о советско-польском сотрудничестве, в частности, авторами из союзных республик обобщен опыт сотрудничества с ПНР приграничных областей Советского Союза. Выходят из печати отдельные работы, рассматривающие место Польши в системе международных отношений.

Конечно, создавались и труды, не уместающиеся в приведенный перечень, но это несколько не меняет монополюбно-приоритетного положения выделенной нами тематики. В рамках региональных сравнительно-исторических исследований на польском материале определенное освещение получили проблемы этнического самосознания средневекового общества, переходного периода от феодализма к капитализму, политических систем межвоенного двадцатилетия, революционного процесса 40-х годов. Общепризнано, однако, что, развивая сравнительно-исторические штудии, советские слависты подошли к рубежу, когда необычайно острой стала потребность в монографических изысканиях страноведческого характера. Именно сейчас, закладывая эту монографическую струю в перспективное планирование, особенно важно избежать соблазна повторения традиционной тематики.

Между тем тематическое однообразие не врожденная черта советской полонистики. При несравнимо меньшем числе специалистов в 30—50-е годы круг ее интересов был шире. Не связанные единой исследовательской программой труды В. И. Пичеты (значительная их часть осталась неопубликованной), М. В. Джервиса, К. А. Пушкаревича, У. А. Шустера затрагивали многие стороны польского исторического процесса. Пользовалась вниманием и польская историческая наука, причем если публикации Джервиса и других авторов не отступали от канонов сталинской эпохи, то в рукописных историографических исследованиях Пичеты присутствует глубокое понимание предмета [28]. Разнообразие научных интересов поощрялось также в ходе поистине титанической работы по подготовке трехтомной «Истории Польши». Лишь позднее все силы отдаются исследовательским направлениям, которые и по сей день определяют лицо отечественной полонистики. Прежде всего, пользуясь словами В. Д. Королюка, «выделилось, стало крупным и фактически самостоятельным новое направление, концентрирующее усилия на изучении революционных связей славянских народов» [29, с. 22]. Отлично скоординированная работа большого научного коллектива, в котором сформировалась целая школа исследователей польского освободительного движения, не замедлила принести обильные плоды. Уже в середине 60-х годов крупнейший знаток истории Польши XIX в. С. Кеневич признавал приоритет советских историков в изучении ряда важных аспектов восстания 1863—1864 гг. [15, 1965, № 1, с. 22].

Одним из первых долгосрочные перспективы развития исторической полонистики в СССР подверг анализу И. С. Миллер. В 1972 г. с учетом целесообразности разделения труда между учеными разных стран он предлагал сосредоточиться на двух главных участках: сравнительно-исторических исследованиях и связях народов России с народами Центральной и Юго-Восточной Европы. Не трактуя проблематику связей узко, И. С. Миллер, однако, выражал твердую уверенность в том, что «именно революционные связи являются ключевой, определяющей линией русско-польских отношений во всех их проявлениях, во всех, включая и самые, на первый взгляд, далекие от политики сферы» [30, с. 408—410, 180]. Думается, что на рубеже 60—70-х годов после завершения многотомных историй, такая программа в целом правильно отражала потребности и возможности советского славяноведения. Во многом она следовала примеру наиболее влиятельной области советской исторической науки, каковой является изучение отечественной истории, но в некоторых своих существенных моментах, связанных с внедрением типологического подхода, давала нашим славистам качественные преимущества перед русистами и коллегами из Польши. На рубеже 80—90-х годов, как убедительно показали дискуссии «круглых столов» Всесоюзного совещания историков-полонистов, прежняя научная стратегия нуждается в серьезной коррективке [26, с. 28—36; 31].

В отличие от двух названных выше, третье направление, обозначенное И. С. Миллером, к сожалению, так и не оформилось. Речь идет о призыве «внимательно следить за развитием науки в братских социалистических странах» [30, с. 408]. Со времен Н. И. Кареева и В. И. Пичеты

интерес к изучению польской историографии, кажется, не только не возрос, но и заметно угас. В особенности это верно применительно к ее послевоенному этапу, нашедшему отражение главным образом в учебных пособиях [32]. Не много нового в наши довольно скудные познания о развитии исторической науки в Польше внесли время от времени появляющиеся работы о сотрудничестве советских и польских историков. Большой редкостью стали проблемные историографические обзоры, обобщающие опыт польских исследователей на отдельных участках научного поиска [33].

Попыткой общего взгляда на состояние современной польской историографии, сочетающего историко-научный и проблемно-тематический курсы, была совместная работа польских и советских авторов «Историческая наука в Народной Польше. 1945—1975», подготовленная к печати в 1980 г. К сожалению, она не была опубликована, поскольку в первой половине 80-х годов польская проблематика сделалась почти закрытой: на протяжении нескольких лет действовал строгий запрет даже на простое упоминание в научных публикациях ныне живущих польских историков. Одним из частных, но весьма наглядных результатов этой первобытно дикой административной акции стал выход в свет практически без научного аппарата такого полезного издания, как «Польша на путях развития и утверждения капитализма» [34].

Хотя о решительных изменениях к лучшему говорить еще, наверное, преждевременно, в последние годы обозначились некоторые позитивные сдвиги. В Институте славяноведения и балканистики АН СССР начато систематическое изучение историографии стран Центральной и Юго-Восточной Европы, включая Польшу. Точка зрения польских коллег постоянно присутствовала при обсуждении большого круга вопросов на Всесоюзном совещании историков-полонистов. Впрочем, справедливости ради, приходится признать, что еще не окончательно вышли из употребления идеологические штампы, долгое время не позволявшие адекватно относиться к процессам, происходящим в зарубежной полонистике.

Тематическая однобокость советских исследований в области польской истории, особенно бросающаяся в глаза при их немалых масштабах, не является следствием случайного стечения обстоятельств. Десятилетиями закладывалось в планы и финансировалось почти исключительно изучение того, что исторически объединяет народы СССР и Польши. Сложилось убеждение, что в этом и состоит единственно мыслимый вклад историков в интернациональное воспитание трудящихся, укрепление взаимопонимания и дружбы двух соседних стран. Научную несостоятельность обедненного, а значит и неизбежно тенденциозного отображения исторического процесса доказывать нет необходимости. После долгожданной легализации «белых пятен» для многих стала очевидной и общественно-политическая порочность застойной установки.

Сегодняшняя ситуация в исторической части отечественной полонистики может быть оценена как переходная. Исчерпал себя этап, когда на первом плане стояло изучение проявлений классовой борьбы, левых течений общественного движения, революционных связей и интернационального сотрудничества. Достижения в этих областях велики и бесспорны: достаточно вспомнить уникальную двадцатипяти томную публикацию источников по восстанию 1833—1864 гг. и носящую выраженный итоговый характер монографию о российско-польских революционных связях за целое столетие [35]. Однако, почтительно склоняясь перед большим и добросовестным трудом целой когорты советских ученых, следует ясно осознавать, что сохранение данной тематики в качестве приоритетной чревато топтанием на месте, утратой интереса польских коллег к собственно научной кооперации с нами, равносильно дальнейшему превращению советской полонистики в периферию мировой науки. Это говорится с полным сознанием того, что архивы СССР еще хранят массу не введенного в оборот материала по каждой из названных выше групп проблем. Революционная тема несомненно обретет вторую жизнь, когда предметом изучения станут весь спектр, все многообразие общественно-политических

и идейных течений, когда она будет включена в широкий социальный и социокультурный контекст.

■ Переориентация исторической полонистики идет пока неудовлетворительно медленно, поскольку еще очень сильна инерция воспроизводства старой тематики. Преодоление этой инерции, на наш взгляд, едва ли не самая неотложная задача советских исследователей. Эта задача значительно шире программы заполнения «белых пятен», которой руководствуется в своей деятельности двусторонняя советско-польская комиссия, хотя бы потому, что последняя концентрируется на достаточно узком хронологическом отрезке и занята почти исключительно историей отношений между Польшей и СССР. И конечно же, совершенствование полонистических исследований историков немислимо без новых теоретико-методологических, концептуальных подходов. Есть все основания ожидать, что особенно радикально будут меняться наши представления о послевоенном периоде, в наибольшей степени отягощенные бессодержательными в научном отношении политическими штампами и деформированные жесткой селекцией фактического материала. Не случайно, что именно в этой части рекомендации Всесоюзного совещания дают, пожалуй, самый развернутый перечень проблем, ждущих своих исследователей. Однако историки в очередной раз могут принести дань политической конъюнктуре, если не сумеют отстоять право и найти в себе смелость высказывать независимую точку зрения, покончить с тем ненормальным положением, когда любое выступление ученого в печати должно восприниматься как официально-государственная позиция. Одним из важных показателей обновления советской полонистики, как нам кажется, будет использование всего положительного, чем богат исследовательский опыт западных коллег, а в перспективе — широкое научное сотрудничество с ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Стецкевич С. М., Якубский В. А.* Становление и развитие советской исторической полонистики. — В кн.: Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981.
2. *Дьяков В. А.* Изучение истории Польши советскими учеными. — Новая и новейшая история, 1985, № 6.
3. *Полков Б. С.* Идеино-политическое развитие польского общества, 1832—1862 годы (Советская историография проблемы). — В кн.: Вопросы истории славян. Воронеж, 1986.
4. *Горизонтов Л. Е.* Изучение истории Польши в Великобритании: организация исследований и научные кадры. — В кн.: Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США. М., 1989.
5. *Davies N.* Poland, past and present: A selected bibliography of works in English. Newtonville, 1977.
6. East European quarterly. Boulder (Colorado).
7. East European monographs. Boulder (Colorado): *Dembkowski H. E.* The union of Lublin: Polish federalism in the Golden Age. 1982; *Stone D.* Polish politics and national reform 1775—1778. 1976; *Pachónski J., Wilson R. K.* Poland's Carribean tragedy: A study of Polish legions in Haitian war of independence, 1802—1803. 1986; *Thackeray F. W.* Antecedents of revolution: Alexander I and the Polish Kingdom, 1815—1825. 1980; *Murdzek B. P.* Emigration in Polish social-political thought, 1870—1914. 1977; *Naimark N. M.* The history of the «Proletariat»; The emergence of Marxism in the Kingdom of Poland, 1870—1887. 1979; *Blanke R.* Prussian Poland in the German empire (1871—1900). 1981; *Kulczycki J. J.* School strikes in Prussian Poland, 1901—1907: The struggle over bilingual education. 1981; *Balawyder A.* The maple leaf and the white eagle: Canadian-Polis relations, 1918—1978. 1980; *Wynot E.* Warsaw between the world wars: Profiles of the capital city in a developing land, 1918—1939. 1983; *Zamoyski A.* The battle for the Marchlands. 1981; *Woytak R. A.* On the border of war and peace: Polish intelligence and diplomacy in 1937—1939 and the origins of the Ultra Secret. 1979; *Korbonski S.* The Polish underground state: A guide to the underground 1939—1945. 1978; *Monticone R. C.* The catholic church in communist Poland, 1945—1985: 40 years of church-state relations. 1986; *Louis the Great, king of Hungary and Poland/Ed. by S. B. Vardy et al., 1986; Skurnowicz J. S.* Romantic nationalism and liberalism: Joachim Lelewel and the Polish national idea. 1981; *Cottam K. J.* Boleslaw Limanowski (1835—1935): A study in socialism and nationalism. 1978; *Fountain A. M.* Roman Dmowski: Party, tactics, ideology, 1895—1907. 1980; *Bromke A.* The meaning and uses of Polish history, 1987.
8. *Davies N.* God's playground: The history of Poland. V. 1—2. Oxford, 1981.
9. *Polityka.* Warszawa, 1983, № 43.

10. Tygodnik kulturalny. Warszawa, 1987, № 45.
11. *Jakobs M. C., Best P. J.* Cumulative index to the Polish review, v. 1—25, 1956—1980.— Polish review, v. 26, 1981, № 4.
12. Teki historyczne. Londyn, 1947, № 1, s. 78.
13. Kongress współczesnej nauki i kultury polskiej na obczyźnie. T. I. Londyn, 1970. *Orkiszewski E.* Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie.— Tygodnik demokratyczny; Warszawa, 1988, № 29, s. 11; *Mierziński Z.* Instytucje i Muzeum Gen. Sikorskiego w Londynie.— Kierunki. Warszawa, 1987, № 47, s. 9.
14. Zeszyty historyczne. Paryż.
15. Kwartalnik historyczny. Warszawa.
16. *Горизонтов Л. Е.* История и современное состояние польской исторической науки в освещении английских и американских авторов.— В кн.: Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990.
17. *Sakson A.* XX konferencja podręcznikowa historyków PRL i RFN.— Życie i Myśl. Warszawa, 1987, № 7/8.
18. The Slavic review. Washington, 1982, № 1, p. 162.
19. *Jagodziński Z.* The Katyn bibliography: books and pamphlets. London, 1976.
20. *Ciechanowski J. M.* The Warsaw rising of 1944. Cambridge, 1974.
21. The history of Poland since 1863. / Ed. by R. F. Leslie Cambridge, 1980.
22. *Drozdowski M. M., Garlicki A., Kieniewicz S.* Najnowsze dzieje Polski z perspektywy Cambridge.— Przegląd historyczny, 1982, z. 3—4.
23. Tygodnik powszechny. Kraków.
24. *Jelavich Ch.* East European studies today.— Newsletter. American Association for the advancement of Slavic studies. 1988, v. 28, № 1.
25. *Orton L. D.* Amerykańscy historycy wobec zagadnień wielonarodowościowej monarchii habsburskiej (1526—1918).— Studia historyczne. Kraków, 1981, z. 3; Освободительные движения народов Австрийской империи. Т. 1—2. М., 1980—1981.
26. Актуальные задачи изучения истории Польши, российско-польских и советско-польских отношений: Экспресс-информация о Всесоюзном совещании 1989 г. Калинин, 1989.
27. Общественное движение на польских землях: Основные идейные течения и политические партии в 1864—1914 гг. М., 1988.
28. Архив АН СССР, ф. 1548, оп. 1, д. 328, 329, 336, 363, 396.
29. Славяне в эпоху феодализма: к 100-летию академика В. И. Пичеты. М., 1978.
30. *Миллер И. С.* Исследования по истории народов Центральной и Восточной Европы XIX в. М., 1980.
31. *Горизонтов Л. Е.* Всесоюзное совещание историков-полонистов.— Вопросы истории, 1989, № 8, с. 181—183.
32. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Т. 2. М., 1968; *Зашкильняк Л. А.* Формирование и развитие исторической науки в Польше. Львов, 1986; Историография истории южных и западных славян. М., 1987.
33. *Дьяков В. А.* Разработка учеными ПНР теоретико-методологических проблем исторической науки (1945—1980).— История СССР, 1989, № 1.
34. Польша на путях развития и утверждения капитализма. Конец XVIII—60-е годы XIX в. М., 1984.
35. Очерки революционных связей народов России и Польши, 1815—1917. М., 1976.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Пелешенко Ю. В.* Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця XIV — початку XVI ст. Київ, 1990, 143 с.
- Пириннее' 85: Исследования и материалы / Отг. ред.: Живков Т. Ив. София, 1990, 228 с., ил.
- Славяне: адзінства і мнагастайнасць: Міжнар. канф., 24—27 мая 1990. Тэз. дакл. і паведамленняў. Мінск, 1990.
- Славяне и их соседи: Этно-психол. стереотип в сред. века. (Сб. тез.). М., 1990, 101 с.
- Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. Киев, 1990, 485 с., 4 л. ил.
- Славянская письменность: Десять веков болг.-рус. культ. связей. Кат. выст., София — Ленинград: май — июль 1990 г. / Сост. Бонева Р. и др. Л., 1990, 82 с.
- Славянские и балканские культуры XVIII—XIX вв. Сов.-амер. симпозиум. М., 1990, 186 с.
- Софроний Врачански.* Катехизически, омилетични и нравоучителни писания: Из ръкописното наследство на светителя. Фототипно изд. София, 1989, 719 с.
- Физиолог: Средьовковни медицински списи. Избор. Београд, 1989, 164 с., ил.
- Цамблак Г.* Књижевни рад у Србији. Београд, 1989, 174 с., ил.
- VI Международный конгресс славянской археологии. г. Прилеп. Югославия. 1990 г.: Тез. докл., подгот. сов. исследователями. М., 1990, 220 с.
- Шушарин В. П.* Венгерский народ в XV—XVI вв. М., 1990.



ВЕНЕДИКТОВ Г. К.

ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ СТАРЕЙШИНЕ СОВЕТСКИХ СЛАВИСТОВ

Доктор филологических наук, профессор, многолетний заведующий кафедрой славянских языков в Московском университете и сектором славянского языкознания в Институте славяноведения и балканистики АН СССР, иностранный член Болгарской академии наук и Македонской академии наук и искусств, автор около 400 печатных научных трудов, в том числе 18 индивидуальных и коллективных монографий, учебников и словарей¹, инициатор, организатор и руководитель многих крупных научных трудов и начинаний, участник почти всех послевоенных международных съездов славистов, основатель и ответственный редактор целого ряда серийных славистических изданий, член Советского комитета славистов, председатель одной из комиссий при Международном комитете славистов, воспитатель большого числа специалистов по славянским языкам, ученых-лингвистов, кавалер ордена «Знак почета», медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «В память 800-летия Москвы», «Ветеран труда», болгарского ордена Кирилла и Мефодия 1 степени, медали «25 лет народной власти». Таков краткий перечень того, что составляет «анкетное лицо» Самуила Борисовича Бернштейна, которому в начале января 1991 г. исполнилось 80 лет, таковы те «протокольные» научные и научно-организационные итоги, с которыми к своему 80-летию пришел Самуил Борисович Бернштейн, вне всякого сомнения заслуженный деятель нашей страны *de facto*, хотя, к большому сожалению, и не удостоенный этого звания *de jure*, как не был удостоен он, к не меньшему сожалению, и высокого нашего академического звания.

Старейшина советских славистов С. Б. Бернштейн как ученый вошел в филологию в самом начале 30-х годов. Можно сказать, что Самуил Борисович — это живая история славянской филологии в течение последних шести десятилетий. Если говорить о советском языкознании, то за это время оно пережило господство учения о языке Н. Я. Марра, борьбу с этим учением в свете лингвистической дискуссии 1950 г., распространение идей структурализма. С. Б. Бернштейн не выступал резко ни против, ни за возникавшие новые веяния, а следовал раз избранному пути традиционного сравнительно-исторического языкознания, которому он остается верен и по сей день.

Самуил Борисович Бернштейн родился 3 января 1911 г. (по старому стилю — 21 декабря 1910 г.) в г. Баргузине в Забайкалье (ныне — Бурятская АССР) в семье политических ссыльных. Среднюю школу он окончил в 1928 г. в г. Никольск-Уссурийске под Владивостоком (те-

Венедиктов Григорий Куприянович — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Полный список печатных трудов С. Б. Бернштейна с 1935 по 1970 гг. см. [1]; с 1971 по 1990 гг. — в сборнике, готовящемся к печати [2].



Самуил Борисович
Бернштейн

перь — г. Уссурийск). В том же году поступил на историко-этнологический факультет Московского университета. Здесь, на отделении западных и южных славян, студент Бернштейн изучал славянское языкознание под руководством известных славистов А. М. Селищева и Г. А. Ильинского, участвовал в диалектологических экспедициях. Окончив славянское отделение по циклам болгарского и польского языков, в 1931 г. Самуил Борисович поступил в аспирантуру Московского научно-исследовательского института языкознания, где под руководством проф. А. М. Селищева продолжил фундаментальную специализацию в области болгарского языкознания. В аспирантские годы началась и педагогическая деятельность, продолжавшаяся 50 лет. Будучи аспирантом, в 1931—1933 г. он читал — в звании доцента — лекции по старославянскому языку и истории русского языка в Московском вечернем педагогическом институте. В 1933 г. успешно сдал кандидатские экзамены и приступил к непосредственной работе над кандидатской диссертацией на тему «Тюркские элементы в языке дамаскинов XVII—XVIII вв.». В том же году в связи с ликвидацией названного Института языкознания Самуил Борисович вместе с другими аспирантами был переведен в аспирантуру Института языкознания в Ленинграде, где и закончил подготовку в мае 1934 г. под руководством проф. М. Г. Долобо. 29 мая 1934 г. С. Б. Бернштейн успешно защитил кандидатскую диссертацию. Его официальными оппонентами были проф. М. Г. Долобо (тогда оппонентом мог выступить и научный руководитель) и известный тюрколог проф. Н. К. Дмитриев. Одновременно с работой над диссертацией в качестве доцента в Ленинградском областном педагогическом институте им. Покровского он читал лекции по болгарскому и старославянскому языкам, выступал с докладами в существовавшем в Ленинграде в начале 30-х годов Институте славяноведения АН СССР, участвовал в обсуждении других докладов. С осени 1934 г. до 1938 г. С. Б. Бернштейн руководил кафедрой болгарского языка и литературы Одесского пединститута. Здесь он читал лекции по современному болгарскому языку, истории болгарского языка, старославянскому языку; одновременно, с 1937 г. работал и в Одесском университете, где руководил кафедрой языкознания и два года был деканом литературного факультета. В те же

годы он вел курс введения в языкознание в Одесском институте иностранных языков.

Осенью 1939 г. решением Всесоюзного комитета по делам высшей школы С. Б. Бернштейн был переведен в Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ), который в 1941 г. вошел в состав Московского университета. Студентам и аспирантам МИФЛИ он читал лекции по введению в славянскую филологию, сравнительной грамматике славянских языков, по отдельным славянским языкам. В 1941—1943 гг. в Ашхабаде, куда был эвакуирован филологический факультет Университета, С. Б. Бернштейн исполнял обязанности заведующего кафедрой славяно-русского языкознания и был деканом факультета. По возвращении в Москву в 1943 г. принял активное участие в организации в Московском университете славянского отделения. С того времени и до осени 1948 г. он был заместителем заведующего открытой здесь кафедрой славянской филологии, а с осени того же года и до 1975 г. — заведующим этой кафедрой и славянским отделением.

В 1943 г. С. Б. Бернштейн стал докторантом Института языкознания АН СССР (впоследствии Института русского языка АН СССР). Докторскую диссертацию на тему «Язык валашских грамот XIV—XV ст.» он защитил 6 декабря 1946 г. в Ученом совете Института русского языка АН СССР. Официальными оппонентами по его диссертации были акад. Н. С. Державин, профессора Л. А. Булаховский, М. В. Сергиевский, Б. А. Ларин. Ученая степень доктора филологических наук решением ВАК СССР была присуждена С. Б. Бернштейну 31 мая 1947 г., а звание профессора — 10 января 1948 г.

В самом конце 1946 г. он стал старшим научным сотрудником только что созданного в рамках Академии Наук СССР Института славяноведения (с 1968 г. — Институт славяноведения и балканистики), в стенах которого продолжает трудиться и в настоящее время. Летом 1947 г. С. Б. Бернштейн был назначен исполняющим обязанности заведующего сектором филологии этого института, а с 16 сентября 1951 г. — заведующим вновь выделенного сектора славянского языкознания. Этим сектором С. Б. Бернштейн руководил до 24 мая 1977 г., когда после разделения сектора был назначен руководителем Группы этнолингвистики и славянских древностей. С 16 марта 1981 г. он назначается руководителем Группы Общекарпатского диалектологического атласа. С 30 июня 1986 г. Самуил Борисович на пенсии, но продолжает работу в Институте в качестве ведущего научного сотрудника-консультанта.

Многолетняя работа С. Б. Бернштейна в Московском университете и Институте славяноведения и балканистики АН СССР оказалась очень плодотворной для развития славянской филологии в нашей стране в послевоенные десятилетия.

Заведая кафедрой славянской филологии в Московском университете, Самуил Борисович сумел сформировать коллектив опытных преподавателей по языкам и литературам зарубежных славян, сам и совместно с сотрудниками кафедры разработал программу обучения студентов и аспирантов славянского отделения, принимал участие в подготовке учебных пособий и программ. В частности им были составлены программы университетских курсов по сравнительной грамматике славянских языков, истории болгарского и сербского языков, болгарскому и чешскому языкам. Самуил Борисович долгие годы читал курсы лекций по сравнительной грамматике славянских языков, болгарскому и сербскому языкам и др. Четкость, простота и убедительность изложения, прекрасный слог и язык — неизменные качества лекций, всегда привлекавших к себе внимание слушателей. Чтение лекций, по словам Самуила Борисовича, доставляло ему большое удовлетворение. При участии С. Б. Бернштейна кафедрой были подготовлены учебные пособия для студентов славянского отделения университетов, в том числе и коллективная монография «Славянские языки». (Очерки грамматики западнославянских и южнославянских языков)», вышедшая в 1977 г. под редакцией А. Г. Широковой и В. П. Гудкова, в которой ему принадлежит вводная часть. Заслугой Са-

муила Борисовича как руководителя университетских славистов является и то, что он основал тематическое издание «Славянская филология» (вып. 1—11, 1951—1979), первые выпуски которого вышли под его редакцией.

В Институте славяноведения АН СССР усилиями С. Б. Бернштейна уже в 50-е годы сложился сильный коллектив главным образом молодых ученых-языковедов, сразу же заявивших о себе серьезными трудами и вскоре ставших крупнейшими специалистами в разных областях славянского языкознания. По инициативе, под руководством и при участии Самуила Борисовича здесь была начата и выполнена серия крупномасштабных работ, составивших заметный вклад Института славяноведения и балканистики АН СССР в развитие славянского языкознания. Это прежде всего исследования по болгарской диалектологии, по грамматике (в частности таким ее категориям как падежи, вид и время) и звуковому строю (например, твердость и мягкость согласных) славянских языков.

Многое сделал С. Б. Бернштейн для расширения научно-издательской деятельности Института в области славянского языкознания, чему благоприятствовали и издательские возможности АН СССР в 50—60-е годы. С конца 1949 г. в Институте начали выходить серийные издания, быстро получившие широкую известность среди специалистов. В их организации и достигнутом ими высоком научном уровне большая заслуга принадлежит Самуилу Борисовичу. Он был членом редколлегии и ответственным редактором отдельных томов «Ученых записок» (т. 1—30, 1949—1966) и «Кратких сообщений» (вып. 1—43, 1950—1965) Института славяноведения АН СССР, основоположником «Вопросов славянского языкознания» (вып. 1—7, 1954—1963) и ответственным редактором первых четырех выпусков этого лучшего славистического журнала в нашей стране в те десятилетия. По инициативе Самуила Борисовича и под его редакцией в Институте выходили и «Статьи и материалы по болгарской диалектологии» (вып. 1—10, 1950—1962), последние два выпуска которых были изданы совместно с Институтом болгарского языка Болгарской академии наук под общей редакцией С. Б. Бернштейна и Ст. Стойкова. В последние годы Самуил Борисович возглавлял редколлегию серийного издания «Славянское и балканское языкознание» (вышло 10 томов, 1975—1989). Начиная с 1965 г. он является также членом редколлегии издаваемой Институтом русского языка АН СССР серии выпусков «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования».

Много внимания уделял Самуил Борисович подготовке к печати научных трудов. Под его редакцией вышло в свет несколько томов «Славянского языкознания», включающих доклады советских ученых на международных съездах славистов. Он является ответственным редактором коллективных монографий, сборников и индивидуальных монографий, подготовленных в Институте славяноведения и балканистики АН СССР.

За многие годы работы в Московском университете С. Б. Бернштейн вместе с коллегами по кафедре подготовил сотни специалистов, которые работают в разных университетах и учебных институтах, научных учреждениях, издательствах, творческих организациях и др. Под его руководством десятки будущих ученых прошли студенческую и аспирантскую подготовку в Московском университете, закончили аспирантуру в Институте славяноведения и балканистики АН СССР. Многие из них успешно защитили кандидатские и докторские диссертации. Среди них акад. Н. И. Толстой, чл.-кор. О. Н. Трубачев, д-ра наук Е. И. Демина, В. К. Журавлев, Н. А. Кондрашов, Т. В. Попова, В. Н. Топоров, Е. В. Чешко и др. Одним из одареннейших его учеников был трагически погибший в возрасте 32 лет В. М. Иллич-Свитыч, внесший значительный вклад в славянское, балтийское и ностратическое языкознание. В числе учеников Самуила Борисовича есть и видные зарубежные ученые — проф. Г. Михаилэ (Румыния), Р. Эккерт (Германия) и др.

Переходя к обзору собственно научных занятий С. Б. Бернштейна нужно прежде всего отметить его постоянный интерес к проблемам болгаристики — той области славяноведения, с которой он 60 лет назад начал научную деятельность и которую продолжает заниматься до сих пор.

Велики заслуги Самуила Борисовича в организации исследований и в самом изучении болгарских говоров в СССР и Болгарии. Болгарская диалектология — важнейшая и, наверное, наиболее любимая область славянского языкознания, которой он отдал много времени и исследовательской энергии. Здесь его достижения особенно ощутимы и плодотворны.

Изучением болгарских говоров С. Б. Бернштейн занялся еще в 30-е годы. Уже тогда этой тематике была посвящена его статья «Болгарские говоры Украины (Ольшанский район)» (1939) — один из первых его печатных трудов. С тех пор и до настоящего времени болгарская диалектология была предметом многочисленных и разноаспектных работ Самуила Борисовича. Особенно напряженно и целенаправленно изучением болгарских говоров в СССР он занимался в первые послевоенные десятилетия. Широкому размаху этой планомерной работы, начатой в 1947 г., благоприятствовало, во-первых, то, что на территории СССР находится большое число сел с болгарским населением, говоры которых, генетически связанные с разными диалектными зонами в Болгарии, хорошо сохранились. Во-вторых, создание в конце 40-х годов Института славяноведения АН СССР сделало возможным организовать систематическое и планомерное изучение всех болгарских говоров в СССР, прежде всего с целью лингвистического картографирования, а также и с целью монографического описания некоторых из них. Инициатором и руководителем всей работы по изучению этих говоров стал С. Б. Бернштейн. Им написано много статей, в которых были определены задачи и значение изучения болгарских говоров, в соответствии с новейшими требованиями лингвистического картографирования разработаны принципы построения атласа этих говоров, программа атласа, методика сбора и обработки материалов для него, освещены особенности изучения смешанных говоров. Для выполнения поставленных задач под руководством С. Б. Бернштейна был подготовлен большой и квалифицированный коллектив диалектологов-болгаристов. В течение непродолжительного времени этим коллективом был собран материал для лингвистического атласа, составлены карты атласа и комментарии к ним, опубликовано несколько десятков статей и ряд монографических описаний говоров. О внушительном размахе диалектологических работ в 40—60-е годы свидетельствует и тот факт, что в Институте славяноведения АН СССР выходило упомянутое выше специальное серийное издание «Статьи и материалы по болгарской диалектологии».

Работы советских болгаристов-диалектологов получили высокую оценку крупных ученых. Они не только обогатили болгарскую диалектологию новыми фактическими данными, но и имели большое методологическое значение. Для своего времени это были и теоретически новаторские работы, что определялось прежде всего общим подходом к говорам (диалектам) как к самостоятельно функционирующим системам языка. Это было прямо связано с осознанием недостатков господствовавшего тогда в диалектологии дифференциального метода описания диалектов. Новый подход к диалектному материалу нашел отражение прежде всего в ряде монографических описаний говоров на юге Украины и в Молдавии, выполненных учениками С. Б. Бернштейна (И. К. Бунина, В. К. Журавлев, Н. В. Котова и др.). Для этих работ характерно четкое разграничение фактов современного состояния говоров и их истории, фонетических и морфологических явлений. В них впервые в болгарской диалектологии была дана фонологическая характеристика звуков отдельных говоров. Следует отметить также и первые в болгарской диалектологии специальные описания синтаксиса говоров, в частности таких его центральных проблем как употребление предлогов. С. Б. Бернштейн уделил серьезное внимание изучению смешанных по происхождению говоров и прежде всего языку города Болграда. Результатом сбора лексического материала явились публикации нескольких диалектных словарей разного объема и анализ лексического состава ряда болгарских говоров.

Важнейшее достижение и заслуга С. Б. Бернштейна как болгариста-диалектолога — подготовка и издание (совместно с Е. В. Чешко и

Э. И. Зелениной) «Атласа болгарских говоров в СССР» (М., 1958). Построенный на основе новейших для того времени требований лингвистической географии с учетом своеобразия болгарских говоров на территории СССР как говоров переселенческих, этот «Атлас» был первым опытом лингвистического картографирования в болгарской диалектологии. Его большое значение сразу же было высоко оценено многими крупными диалектологами. Одним из главных результатов «Атласа» было то, что он показал важнейшие особенности современного состояния болгарских говоров в СССР, помог установить структурные типы этих говоров и в известной мере реконструировать их состояние в начальный период развития вне метрополии. «Атлас» наглядно продемонстрировал ошибочность бытовавшего мнения о невозможности лингвистического картографирования южнославянских языков ввиду их сильного междиалектного смешения.

«Атлас болгарских говоров в СССР» как первый опыт картографирования болгарского диалектного материала сыграл немалую роль в подготовке работы по составлению атласа говоров на территории Болгарии. С. Б. Бернштейн вместе со своими учениками-болгаристами во второй половине 50-х — начале 60-х годов принял участие во всех фазах работы над т. I «Болгарского диалектологического атласа», посвященного говорам Юго-Восточной Болгарии: в обсуждении программы и инструкции по собиранию материала, составленных Ст. Стойковым, в собирании самого материала, составлении карт и комментариев к ним. Этот том, изданный Болгарской академией наук в 1964 г. («Български диалектен атлас. Т. I. Югоизточна България») отражает состояние фонетики, ударения, морфологии, лексики, частично синтаксиса и семантики говоров наименее изученной к 50-м годам диалектной зоны, их членение и дает богатый материал для изучения истории болгарского языка. Работа советских и болгарских диалектологов над этим атласом, проведенная под руководством Ст. Стойкова и С. Б. Бернштейна, была взаимно полезной и явилась важным этапом в дальнейшем изучении болгарских диалектов.

Богатейший материал, собранный для диалектологических атласов и независимо от них в говорах на территории СССР и Болгарии, стал основой для исследований разных проблем болгарской диалектологии. Интересными в методологическом отношении были в частности работы С. Б. Бернштейна (совместно с Е. В. Чешко) по классификации болгарских говоров в СССР и на юго-востоке Болгарии. В них диалектное членение говоров основывается не только на фонетических и морфологических особенностях, но и на широком привлечении акцентуационных и лексических данных. Им же был рассмотрен и один из центральных вопросов болгарской диалектологии — вопрос об основном двуделении болгарского диалектного континуума в исторической ретроспективе по данным современной лингвогеографии.

Глубокий и разносторонний интерес к проблемам болгарской диалектологии тесно и естественно сочетается у Самуила Борисовича с изучением им истории болгарского языка. В современных говорах он видит ценнейший источник для исследования истории языка, находит в них живое подтверждение совершавшимся в прошлом языковым процессам и их результатам в нынешнем состоянии народного языка. Лингвогеографическая же интерпретация современных диалектных данных исключительно важна для освещения связи современных говоров с древнейшими племенными диалектами, для установления границ древних диалектов, соотносительной хронологии многих явлений и фактов.

Интерес к вопросам истории болгарского языка С. Б. Бернштейн обнаружил уже в самом начале своей научной деятельности, посвятив кандидатскую диссертацию изучению тюркских элементов в языке дамаскинов — памятников новоболгарской письменности XVII—XVIII вв. Эта же тема развита и в одной из статей 40-х годов. А позже, в конце 50-х годов, он обратил внимание на важность текстологического изучения данных этих памятников путем сравнения разных редакций списков «Сокровища» Дамаскина Студита в новоболгарских переводах.

Важнейшим же трудом С. Б. Бернштейна по истории болгарского языка и одновременно по исторической болгарской диалектологии является монография «Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Т. I. Язык валашских грамот XIV—XV веков» (М., 1948) — переработанный вариант докторской диссертации. Здесь на основе анализа характерных новоболгарских особенностей в языке валашских грамот XIV—XV вв. С. Б. Бернштейном убедительно доказана генетическая связь живых славянских говоров Валахии с говорами Болгарии и приведен богатый материал для определения хронологии целого ряда важных процессов в развитии новоболгарского языка. В монографии освещены также такие важные для истории Дакии и Валахии в позднее средневековье вопросы как этнические и языковые взаимоотношения, возникновение письменности в Валахии. Много внимания уделено в ней филологической критике текстов как необходимой предпосылке тщательного анализа их языковых данных (здесь в частности для разграничения сербских и болгарских элементов). «Разыскания» С. Б. Бернштейна — до сих пор единственный в славянском языкознании капитальный труд, посвященный тому периоду истории болгарского языка, когда устанавливалась и утверждалась система его новоболгарских черт. Он важен не только для изучения истории болгарского языка, но и для исследования истории румынского языка, в частности его славянского компонента.

Занимаясь параллельно живыми болгарскими говорами и языком памятников болгарской письменности, С. Б. Бернштейн приходит к важному заключению, касающемуся периодизации истории болгарского языка, а именно, что общая периодизация истории этого языка должна строиться, учитывая его письменные памятники, и особенно живой народный язык. При том, что при изучении истории болгарского языка наиболее плодотворен ретроспективный подход — от современного состояния языка (включая народные говоры) к новоболгарскому языку дамаскинов XVII—XVIII вв., отражающему многие особенности народной речи тех столетий, от него — к данным памятников письменности XIV—XV вв. (в частности, валашских грамот), а затем и к более ранним этапам. Характеризуя современные задачи изучения истории болгарского языка, С. Б. Бернштейн четко формулирует мысль о противопоставлении двух близких, но самостоятельных ее областей — истории письменного (литературного) болгарского языка и исторической диалектологии. Каждая из них опирается как на древние тексты, так и на современные диалекты. Различие между ними, следовательно, не в источниках, а в задачах и методах их изучения. Достижения последних лет (в частности, изданные тома «Болгарского диалектологического атласа», многочисленные статьи и монографии, публикации диалектных материалов и др.) составляют надежную базу для построения болгарской исторической диалектологии. Полагая, что воссоздание эволюции народного языка в структурном, хронологическом и территориальном аспекте без привлечения письменных памятников невозможно, С. Б. Бернштейн в последнее время указывает на одну из основных и актуальных в настоящее время задач истории болгарского языка — изучение многочисленных русских списков с древне- и среднеболгарских памятников письменности, представляющих ценнейший источник данных.

С. Б. Бернштейн занимается также и исследованием истории современного болгарского литературного языка. Этому вопросу были посвящены две из самых ранних его статей. В послевоенное время, когда изучение истории этого языка стало одной из быстро развивающихся областей болгарского языкознания, Самуил Борисович выступил с рядом статей (среди них следует выделить прежде всего статью «К изучению истории болгарского литературного языка», опубликованную в 1963 г.), в которых выдвигает существенные положения, касающиеся формирования языка. Так, еще в 1958 г. он высказал положение об общebolгарском разговорном койне, на основе которого сформировался функционирующий ныне литературный язык, подчеркнув тогда же, что изучение этого процесса — одна из неотложных задач болгароведов. Самуил Борисович при-

нял участие в дискуссии о начале современного литературного языка, доказывая, что изучение его истории следует начинать не с языка дамаскинов, как считают некоторые ученые, а с языка «Истории славяноболгарской» Паисия Хилендарского (1762).

С. Б. Бернштейн занимается также исследованием разных проблем складывания других славянских литературных языков, в частности диалектной основой польского литературного языка, типологией формирования литературных языков у славян в связи с их национальным возрождением и др. Следует отметить, что в сравнительно новой области языкознания, какой является история литературных языков славян. Самуила Борисовича, кажется, больше всего интересуют проблемы возникновения и ранние этапы формирования новых (современных) литературных языков. Этим определяется и его обращение к македонскому языку, первая статья о котором была опубликована им еще в 1938 г. в 37-м томе «Большой советской энциклопедии». Нормализации отдельных явлений грамматической структуры и некоторым другим вопросам создания этого языка посвящены статьи С. Б. Бернштейна, опубликованные в послевоенные годы.

Изучение истории болгарского языка закономерно привело Самуила Борисовича к проблемам балканистики. Уже в кандидатской диссертации он касается сложного вопроса о роли и значении турецкого языка в развитии балканских языков и в формировании балканского языкового союза. Эта тема развита в докладе на I Международном съезде балканистов (София, 1966), где доказано, что сам турецкий язык, не имеющий характерных черт-балканизмов, не входит в балканский языковый союз, но оказал заметное влияние главным образом на лексику и словообразование всех других балканских языков, и именно общность большого числа заимствований из турецкого составляет одну из объединяющих балканские языки особенностей. Много внимания в своих трудах, начиная с докторской диссертации и монографии «Разыскания в области болгарской исторической диалектологии», уделяет Самуил Борисович проблемам славянского (главным образом болгарского) и румынского (также и молдавского) языкового взаимодействия, особенно месту и роли славянских элементов в развитии структуры румынского языка, с одной стороны, и значению памятников румынской письменности и румынских диалектов для изучения истории соседствующих славянских языков, с другой. Исследуя историю болгарского языка и его связи с другими балканскими языками, он не мог пройти мимо такой важной проблемы общего языкознания как теория субстрата. Изучение сложившейся на Балканах языковой ситуации убеждает, во-первых, в необходимости приоритетного обращения к данным сравнительной грамматики родственных языков и истории соответствующего языка и, во-вторых, в сложности механизма взаимодействия разных языков. Он отмечает, что влияние языка субстрата иногда сказывается в хронологически отдаленных, позднейших явлениях языка суперстрата, как это было, например, с утратой склонения и возникновением аналитизма в болгарском.

Постоянный и устойчивый интерес С. Б. Бернштейна к различным формам языковых контактов, поиски новых материалов приводят его к Карпатам. На Всесоюзном совещании по актуальным проблемам славяноведения (1961) он выступил с докладом «Некоторые проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков», где была показана глубокая связь карпатских говоров Украины, Польши, Словакии, Румынии, Молдавии и Венгрии со славянскими говорами Болгарии и Югославии. Целенаправленное изучение этой проблемы было поделено на два этапа. Первый был ограничен наблюдениями над украинскими, болгарскими и сербскими говорами. На основе собранного материала был подготовлен и опубликован «Карпатский диалектологический атлас» (1967). Большую роль в его создании сыграл В. М. Иллич-Свитыч. В сборе материала и подготовке карт принимали участие Г. П. Клепикова, Т. В. Попова и В. В. Усачева. Уже этот атлас ясно показал, что между языками карпатской зоны происходили сложные процессы взаимопроник-

новения и взаимовлияния, в результате которых сформировалась языковая общность со своими специфическими чертами. После этого стало очевидно, что можно начинать работу над «Общекарпатским диалектологическим атласом» (ОКДА) с привлечением широкого круга языков Карпатского ареала. Такая работа началась в 1972 г. и велась под общим руководством С. Б. Бернштейна. В ней приняли участие ученые СССР, Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии, а на начальной стадии — и Болгарии, и в настоящее время она близка к завершению. Составленные карты ОКДА и комментарии к ним (уже вышли из печати вступительный и два первых выпуска) убедительно показывают глубокую связь, уходящую в своей основе к V—VII вв., между миграционными процессами славянских и других народов карпато-балканского региона с широким взаимным проникновением элементов разного происхождения в языковую структуру этих народов.

Одна из основных областей научных занятий С. Б. Бернштейна — старославянский язык и сравнительная грамматика славянских языков. Глубокий интерес к ним в немалой степени поддерживался курсами лекций по этим дисциплинам. В течение многих лет, начиная с 1931 г., он читал лекции и вел практические занятия по старославянскому языку в различных учебных заведениях. Лекции в основном были посвящены праславянской фонетике (позже они легли в основу первого тома «Очерка сравнительной грамматики славянских языков»). Практические занятия с аспирантами носили обычно не столько лингвистический, сколько историко-культурный характер. В этом Самуил Борисович следовал своему университетскому учителю Г. А. Ильинскому, от которого воспринял и методику комментированного чтения древних текстов. Еще на занятиях Г. А. Ильинского по чтению знаменитых паннонских житий Кирилла и Мефодия сформировалось горячее желание написать правдивую книгу об их жизненном подвиге. Самуил Борисович поставил перед собой сложную задачу (ибо текстов сохранилось немного, а содержащиеся в них сведения часто противоречивы): опираясь только на источники, дать им свое прочтение. Это потребовало много времени и сил. В 1984 г. в издательстве МГУ вышла его книга «Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности», в которой дано новое толкование отдельных фрагментов текстов. Большое внимание в монографии уделено поздним интерполяциям, которых особенно много в «Житии Мефодия».

Курс лекций по сравнительной грамматике славянских языков С. Б. Бернштейн начал читать в конце 30-х и успешно продолжал его в Московском университете до конца 70-х годов, постоянно совершенствуя с учетом новых результатов собственных исследований, идей и достижений других ученых. Этот курс стал хорошо апробированной основой двух широко известных очерков, в которых систематически изложены итоги исследования важнейших проблем сравнительной грамматики славянских языков в целом и собственное, авторское понимание многих из этих проблем.

Первый — «Очерк сравнительной грамматики славянских языков» был опубликован в 1961 г. В 1965 г. он вышел в румынском переводе («Grammatica comparată a limbilor slave»). «Очерк» содержит два больших раздела — «Введение» и «Фонетика». С позиций языкознания 50-х годов во «Введении» изложено понимание предмета и метода сравнительной грамматики славянских языков, охарактеризовано место славянских языков в кругу индоевропейских, дана их классификация. Особое внимание уделено проблеме балто-славянских языковых отношений. Решительно отвергая теорию балто-славянского праязыка, которым объясняется значительное сходство балтийских и славянских языков, Самуил Борисович выдвигает новые аргументы в пользу положения, согласно которому причина такого сходства лежит в длительных и тесных контактах славянских и балтийских племен, приведших к созданию балто-славянской языковой общности. К числу существенных и поучительных методологических достижений относится представление о праславянском не как

о чем-то едином, нерасчлененном на протяжении двухтысячелетнего существования, а как о языке с определенными периодами развития и характерными процессами. С учетом всего этого по-новому интерпретирован сложный вопрос о диалектном членении праславянского языка в период до наступления основных миграционных движений славян. В разделе «Фонетика» дана тщательно обработанная на основе фонологического анализа характеристика звуков праславянского и их изменений в разных хронологических пластах с новаторски подчеркнутым лингвогеографическим аспектом. «Очерк» был высоко оценен многими учеными разных стран (А. Вайан, И. Добрев, А. В. Исаченко, В. Кипарский, Т. Милевский, А. Сабаляускас, Н. И. Толстой и др.), отметившими ее выход в свет как крупное событие в советской и мировой славистике.

«Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы», опубликованный в 1974 г. (в 1985 г. вышел и его польский перевод: «Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Alternacje. Tematy imienne»), представляет собой чрезвычайно важное исследование истории чередований и именных основ в праславянском, начиная с раннего этапа его развития и — при анализе некоторых явлений — до начального периода истории отдельных славянских языков, а в ряде случаев в общих чертах и до более поздних периодов. Чередования звуков описаны здесь с позиций морфонологии, которую Самуил Борисович рассматривает как равноправный с фонетикой, морфологией или словообразованием раздел (о таком статусе морфонологии и ее предмете он говорит и в других трудах). Центральное место здесь отведено аблауту — его индоевропейским источникам, структуре, хронологии, грамматической функции и др. При освещении аблаута и других проблем праславянской морфонологии С. Б. Бернштейн демонстрирует глубокое понимание историзма процессов и необходимости их лингвогеографической интерпретации. Примером плодотворности анализа праславянских чередований, для которого широко используется и современный диалектный материал, может служить вывод относительно особой активности ступени редукции в южнославянских языках при генерализации их оглосовок. Столь же тщательно изучена и описана история именных основ в праславянском (раздел «Именные основы»). Широта охвата материала (в том числе и нового, прежде всего диалектного), строгость анализа и взвешенность в формулировании выводов делают этот раздел значительным вкладом в сравнительную грамматику славянских языков. Данный «Очерк» также получил высокую оценку рецензентов (Ж. Ж. Варбот, И. Марван, Ю. С. Маслов, Р. Эккерт и др.), нашедших в нем новое слово в славистике, обогащающее ее свежими идеями и разнообразными материалами.

Разным вопросам сравнительной грамматики славянских языков посвящены и другие труды Самуила Борисовича, среди которых следует отметить прежде всего его статьи и доклады на V и VI международных съездах славистов (1963, 1968) о стяжении гласных и структуре слога в славянских языках, а также ряд статей с тонким анализом этимологии и истории отдельных слов (*degъть, *grěхъ, суффикс *tel'ь и др.).

Лингвогеографическое изучение болгарских диалектов и углубленные занятия сравнительной грамматикой славянских языков еще в 50-е годы закономерно привели С. Б. Бернштейна к разработке более широких, общеславянских лингвогеографических задач, в том числе и к практической реализации высказывавшейся и другими учеными идеи создания общеславянского лингвистического атласа. В 1959 г. в Варшаве на совещании по «Общеславянскому лингвистическому атласу» он сделал доклад, в котором изложил свое понимание специфики этого атласа по сравнению с атласами отдельных славянских языков. К сожалению, этот доклад не был опубликован. Некоторые принципы создания этого атласа рассматриваются им совместно с Р. И. Аванесовым в докладе «Лингвистическая география и структура языка», представленном на IV Международном съезде славистов в 1958 г. в Москве. Другие вопросы этого атласа (например, о месте в нем неславянских языков) освещаются в ряде его статей.

Большое внимание в течение всей научной деятельности С. Б. Бернштейн уделяет исследованию истории отечественного и зарубежного славяноведения. Ему принадлежат важные труды по истории славистических кафедр в России, по истории изучения в российских университетах (в частности Московском и Одесском) отдельных южных и западных славянских языков. Прекрасно понимая значение вклада отдельных ученых в развитие отечественного славяноведения, Самуил Борисович посвящает целую серию статей и очерков характеристике славистических трудов и деятельности многих представителей дореволюционного славяноведения в нашей стране — П. И. Кеппена, В. И. Григоровича, И. И. Срезневского, П. С. Билярского, М. С. Дринова и др. Его статьи о деятелях русской славистики опубликованы в энциклопедиях и других научно-справочных изданиях (в частности в кн. «Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь». М., 1977). Особенно ценны статьи об И. И. Срезневском, В. И. Григоровиче и П. С. Билярском, в которых в новом свете показаны некоторые аспекты их деятельности. Итоги изучения истории славяноведения в России совместно с В. П. Гудковым и С. В. Смирновым изложены С. Б. Бернштейном в коллективном труде «Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян» (1988).

Активный деятель советской науки о славянстве в течение более полувека, С. Б. Бернштейн хорошо знает ее недавнюю историю и перипетии ее развития, о чем пишет в серии очерков, статей и брошюр о В. Н. Щепкине и А. М. Селищеве, в воспоминаниях о Д. Н. Ушакове, статьях-портретах о своих старших и младших современниках М. Г. Долобко, П. С. Кузнецове, Р. И. Аванесове, юбилейной статье об О. Н. Трубочеве и мемориальной заметке о В. М. Иллич-Свитыче — его учениках. Среди этих работ особо выделяется монография «А. М. Селищев. Славист-балканист» (1987).

Самуил Борисович был лично знаком со многими видными славистами зарубежных стран. С некоторыми он тесно сотрудничал в разработке крупных научных задач (например, в области лингвогеографии) и посвятил им немало число юбилейных и мемориальных статей и заметок, в частности, болгарским ученым А. Теодорову-Балану, Ив. Лекову, К. Мирчеву, Ст. Стойкову, польским — Т. Лер-Сплавинскому и В. Дорошевскому, сербскому — А. Беличу, чешскому — Б. Гавранеку, румынскому — Э. Петровичу, немецкому — М. Фасмеру.

Наконец, надо еще отметить и устойчивый интерес С. Б. Бернштейна к болгарской лексикографии. Он является автором широко известного у нас «Болгаро-русского словаря», уже выдержавшего три издания (третье в 1986), в настоящее время он подготавливает четвертое, расширенное издание, куда вносит много нового не только в состав словника, но и в семантическую разработку слов с учетом происходящих изменений в лексике литературного языка и достижений современной лексикографии.

Принимая во внимание большие заслуги Самуила Борисовича в развитии славянского языкознания, Институт славяноведения и балканистики АН СССР подготовил и в 1971 г. издал «Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь шестидесятилетия профессора С. Б. Бернштейна», в котором авторами статей являются многие непосредственные ученики Самуила Борисовича, другие ученые Советского Союза и зарубежных стран. К настоящему юбилею — восьмидесятилетию — сотрудники Института славяноведения и балканистики АН СССР подготовили новый сборник статей, который выходит из печати [2]. Коллеги и ученики Самуила Борисовича желают ему скорейшего завершения задуманных им интересных и важных славистических работ, над которыми он продолжает настойчиво и с увлечением трудиться.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исследования по славянскому языкознанию. Сборник статей, посвященных 60-летию С. Б. Бернштейна. М., 1971, с. 5—17.
2. *Studia slavica*. Языкознание. История. История науки. Самуилу Борисовичу Бернштейну (к 80-летию). М., (В печати).



НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ТРУБЕЦКОЙ — УЧЕНЫЙ, МЫСЛИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК

(к столетию со дня рождения)¹

С 1922 г. Н. С. Трубецкой в Вене, в Венском университете, на кафедре славистики, с которой связаны великие имена Миклошича и Ягича. «О повороте в моей судьбе Вы, конечно, уже знаете; я принял приглашение на кафедру славистики в Венский Университет и со дня на день жду официального назначения. Работать придется много, но условия работы прекрасные», — пишет Николай Сергеевич Якобсону 20 декабря 1922 г. Действительно, венская славистика имела длительную и блестящую традицию. Еще несколько лет назад Вена была единственным славистическим центром в мире, равно представляющим интересы западных, южных и восточных славян, входивших в состав Габсбургской монархии. Несмотря на неблагоприятные изменения, престиж венской славистики и соответствующей кафедры был очень высок, и поначалу, в самом деле, могло казаться, что «условия работы прекрасные» и что Трубецкому очень (и, как думали тогда многие, незаслуженно) повезло. Николай Сергеевич проработал в Вене последние полтора десятилетия своей жизни и написал все то, что составляет его славу как ученого. Он многим обязан Вене, как и она ему. И все-таки оценка условий работы как «прекрасных» представляется несколько завышенной, объясняемой контрастом с прежними плохими условиями и непритязательностью ученого, истосковавшегося по элементарным условиям работы (и это относится не только к последним годам скитальческой жизни в России, но и к болгарскому периоду: «Меня утешает только то, что все равно из Болгарии выставили бы, и, во всяком случае, оставаться там значит отказаться от научной работы»). Отъезд из Софии в этом смысле был вынужденным. Да и в истории приглашения в Вену было немало сложностей, обмана с одной стороны, огорчений и обид с другой. «В Вене мне предложили кафедру славянской филологии, — пишет Николай Сергеевич в письме от 12 августа 1922 г. к Р. О. Якобсону, — в случае если у австрийского министерства ничего не выйдет из переговоров с Траутманом, которого уже пригласили на эту кафедру, но который тянет переговоры и слишком много запрашивает. (Трубецкого уверяли, что Траутман на самом деле метит в Берлин на место уходящего в отставку по старости Брюкнера и ведет переговоры с Веной лишь для повышения своих акций в Берлине. — В. Т.). Я имел глупость поверить и дал свое принципиальное согласие. На самом деле оказалось, что меня надули, и что переговоры со мной и мое принципиальное согласие были нужны только затем, чтобы подействовать на Тра-

¹ Окончание. Начало см. в № 6, 1990 г. Цитаты из писем Н. С. Трубецкого даны по книге: N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes. Prepared for publication by Roman Jakobson with the assistance of H. Baran, O. Ronen and Martha Taylor. The Hague — Paris, 1975.

утмана. Теперь меня официально уведомили, что Траутман согласился и что Вена пролетела мимо моего носа. <...> Я жду. Но, признаюсь, беспокоюсь. Очень похоже, что останусь сидеть между двух стульев. Если бы я был один, это было бы очень просто. Но у меня семья, и это уже хуже. Я решил пока что переехать в Вену, где жизнь дешевая и где у меня есть родные. Там я прежде всего полечусь, ибо здоровье мое сильно расстроилось...».

В конце концов Траутман все-таки предпочел Берлинский университет, и теперь уже Вена вынуждена была вторично пригласить Трубецкую на кафедру славянской филологии. Сразу становится ясным, что «прекрасные условия» работы имеют ряд существенных ограничений. Первое — отсутствие нужных пособий и книг («Но пособий совершенно нет. Прежде всего, невозможно все время зависеть от библиотек, нужно иметь свои книги, а у меня их нет. А кроме того и в библиотеках многого не хватает, в частности в библиотеке славянского семинара <...> Значит приходится либо клянчить, либо обмениваться <...> Но вот мне, частному человеку, возможно ли мне получить из советской России книги? Бесплатно я кое-что уже получал, но когда запрашивал в Москве своих знакомых, можно ли выписать платно, и что для этого нужно сделать, никто мне толком ничего объяснить не мог», письмо от 20 декабря 1922 г.) Второе — очень большая загруженность работой в университете, не оставляющей свободного времени для завершения основного научного дела тех лет — «Праистории». В письме Якобсону, написанном, видимо, в феврале 1923 г., находим: «Вы не можете себе представить, как тяжела „та шапка Мономаха“, которую я теперь на себя надел. Я обязан читать 5 часов в неделю, и курсы не должны повторяться раньше, чем на 7-й семестр. Т. о., надо подготовить курсы на 3 года, причем в число этих курсов должны войти 6 славянских языков (все кроме словенского, словацкого, лужицкого и полабского) и главнейшие литературы. Кроме того, надо экзаменовывать «докторов», читать их диссертации, прочитывать работы и экзаменовывать готовящихся на звание учителя <...>, вести семинарии, заседать в факультете и в многочисленных факультетских комиссиях <...> Таким образом, не то что на ближайшие месяцы, но даже на годы я настолько завален работой, что о писании книги и думать нечего: только статейки и могу пописывать. Это, конечно, очень обидно...».

В эти годы Трубецкой вел занятия по старославянскому, болгарскому, сербско-хорватскому, чешскому, польскому и русскому языкам; читал лекции по истории всех этих языков (кроме, естественно, старославянского), по сравнительной грамматике славянских языков, по праславянскому, по дескриптивной грамматике русского языка, по введению в общую фонологию, по истории русской литературы, по древнейшему ее периоду, по Достоевскому; руководил семинариями по отдельным славянским языкам и чтению древних текстов (старославянских, древнечешских и др.), по диалектологии различных славянских языков, по происхождению славянских литературных языков, по фонологии, по истории славянских литератур, по русской литературе, в частности, специально по XVIII веку, по поэзии XVIII—XX вв., по новейшей русской литературе, по русским прозаикам и т. п.

К этим трудностям «венского» периода добавляются и другие: весьма скромные материальные ресурсы, влияющие не только на условия жизни, но и в известной степени ограничивающие участие в международной научной жизни; отсутствие финансовой поддержки в ряде случаев вынуждает отказываться от научных поездок, и озабоченность экономическими условиями жизни при всей нетребовательности к ним так или иначе дает себя знать в целом ряде писем Николая Сергеевича. Но еще более существенным фактором, осложнявшим и жизнь и работу, были болезни, о чем — несколько позже.

Тем не менее Трубецкой в течение всего лишь полуторадесятилетнего периода не только «пописывал статейки», но сделал исключительно много во многих областях, охватив огромный фактический материал и, что еще важнее, заложив фундамент целого ряда теоретических конструкций или

решающим образом развив многие до того еще не вполне определенные гипотезы. В этот период в указанном отношении в мировой гуманитарной науке, имеющей своим исходным пунктом лингвистику, едва ли кого можно сравнить с Трубецким, если не считать Р. О. Якобсона, которого объединяло с ним то, что сам Николай Сергеевич называл «Arbeitsgemeinschaft» и чем он весьма дорожил. Так как этот период научной деятельности Трубецкого и его результаты развертывались на глазах современников и так как даже то, что не сразу было понято, оценено и принято, позже, во всяком случае к нашему времени, стало классикой науки, ее неотъемлемой частью, здесь нет необходимости сколько-нибудь подробно описывать этот вклад по существу и вполне можно ориентироваться на одну задачу — чисто н а п о м и н а т е л ь н у ю.

В этот период в сфере творческого внимания Трубецкого находились языкознание, фольклор, литература, культурология, историософия, национальный вопрос, политика, если исходить из областей з н а н и я; — система, ее единицы и уровни, тождество и различие, релевантные и иррелевантные признаки, признаковое пространство, понятие оппозиции, ее типы, нейтрализация (снятие оппозиций), связь уровней (морфонология), пространство и время, ареальный аспект, лингвистическая география, типы языковых «подобий» (языковая семья, языковой союз, «большие» языковые группы и т. п.), дивергенция и конвергенция, языковая типология, случайное и необходимое (причинно-телеологический аспект), статистика и вероятность, связь языка и культуры, потенциальность (футурологический аспект — будущее языков / языка и актуальный аспект — конструирование искусственных языков с оптимальными параметрами), сфера смысла (от различительных признаков фонемы до уровня символических ценностей культурной традиции), феномен литературного языка и т. п., если исходить из идей и проблем т е о р е т и ч е с к о г о характера; — индоевропейский, латинский, греческий, иранский, тюркский, финно-угорский, палеоазиатский и прежде всего славянский во всех его разновидностях — праславянский, старославянский, болгарский сербско-хорватский, польский, чешский, словацкий, полабский, русский, украинский и т. д., если исходить из я з ы к о в ы х (и отчасти культурных) традиций.

Если же исходить из конкретных работ, которые были опубликованы или подготовлены в эти годы, то помимо упомянутых выше работ по проблемам национальных культурных традиций (этнология и этнософия) и историософии, составляющих «евразийский» цикл, Трубецкой продолжает серию кавказоведческих статей, печатает две работы, посвященные анализу мордовского материала, но главное для него сосредоточивается теперь в двух отчасти пересекающихся совокупностях проблем. С одной стороны, это с л а в я н с к и е я з ы к и, с другой, — т е о р е т и ч е с к о е языкознание.

П е р в ы й круг составляют работы, восходящие к замыслу «Праистории» и отмеченные ранее, — о хронологии (в частности, и относительной) и периодизации праславянского, о ключевых вопросах сравнительно-исторической фонетики, реже — морфологии, словообразования, лексики и этимологии; сюда же относятся исследования, в которых внимание смещается в сторону отдельных славянских языков и они становятся отчасти самоцелью, хотя в конечном счете достигаемые результаты всегда имеют или предполагают «праславянскую» проекцию, в частности, обнаруживаемую через установление характера эволюции языковых фактов. Среди работ этого рода особого внимания заслуживают исследования в области п о л а б с к о г о языка, состояние изученности и интерпретированности (и в синхронном и в сравнительно-историческом плане) которого к концу 20-х годов резко отставало от уровня изученности других славянских языков. Подготовительные работы (о полабск. *Staur* 'алтарь', 1925; об отражении праслав. *o в полабском, 1926; об историко-ведении полабского языка, 1926) увенчались знаменитыми «Polabische Studien» (1930), где были распутаны многие неясности — в частности, благодаря впервые примененному в этой работе в отношении славянских

языков фонологическому подходу. Разбор «Полабской грамматики» Т. Лер-Сплавинского, сделанный в 1931 г., расставил ряд заключительных акцентов в трактовке Трубецким полабского языка. Прогресс в исследовании этого языка не ограничился звуковым уровнем: автору удалось дать наиболее адекватный очерк морфологии полабского языка, извлекая максимум информации из очень небольшого количества записей текстов на этом языке. В середине 30-х годов Трубецкой все чаще обращается к старославянскому языку, итог изучению которого дан в глубоко оригинальной книге, построенной на основе лекций, «*Altkirchenslavische Sprache, Schrift-, Laut- und Formenlehre*» (1934, ср. также посмертное издание 1954 г.).

Эта книга ценна не только отдельными находками и новыми, иногда весьма неожиданными (как в случае анализа алфавита с точки зрения неких символических числовых моделей) интерпретациями, но и методологией описания разных уровней языка как системы, взятой в ее синхронном состоянии (ср. также статьи о притяжательных прилагательных, 1937; о трактовке праслав. *tj, *dj в старославянском, 1936; заметки о синтаксисе, 1935 и одном стихотворном старославянском тексте, 1934, привлечем затем внимание и других специалистов; об этимологии ряда слов). Подобный же сдвиг от сравнительно-исторических исследований, в которых доминантой выступает эволюция языковых элементов в диахронии, в сторону синхронического описания, позволяющего восстановить языковую систему, которая сама по себе в ряде ситуаций оказывается «вторичным» аргументом в пользу новых трактовок, предлагаемых Трубецким, наблюдается и в работах автора, посвященных русскому языку. Ср., с одной стороны, работу 1925 г. о звуковой истории русского языка и распаде общеславянского языкового единства и, с другой — знаменитое исследование морфофонологической системы русского языка (1934), в котором было впервые дано последовательное и полное описание этого уровня системы языка, связывающего фонологию с морфологией и объясняющего вовлечение элементов низшего уровня в состав элементов более высокого уровня и способы и типы функционирования языковых механизмов. Необходимо подчеркнуть, что само конституирование морфофонологии как особого языкового уровня и как особого раздела языкознания представляет собой ключ (как и в случае фонологии), открывающий новый класс языковых значений. Морфофонологическое исследование современного литературного русского языка (как и «мертвых» старославянского и полабского; ср. также соображения о ряде особенностей морфофонологии чешского языка, содержавшиеся в лекциях) стало практической реализацией более ранней теоретической работы Трубецкого о морфофонологии (1929), в которой впервые были сформулированы идеи о природе этого раздела языка и о его составе (фонологическая структура морфем, комбинаторика звуковых изменений морфем в морфемных последовательностях, морфофонологическое функционирование чередований звуков). В «Мыслях о морфофонологии» (1931) Трубецкой выдвинул перспективную идею построения типологии, исходящей из морфофонологических критериев.

И еще две теоретические проблемы, которые практическую разработку получили прежде всего на русском материале, — место и особенности русского языка и русской культуры в континууме других культурно-языковых типов Евразии (см. выше) и специфика литературных языков. Вопрос о природе и функции литературного языка был поставлен Трубецким сразу же на широкую и надежную основу. Эксплицируя общие идеи автора, изложенные им в работе об общеславянском элементе в русской культуре, можно сказать, что литературный язык выступает как явление двух рядов — языкового и культурного. «Культура» определяет возможности и ограничения, налагаемые на использование и самый характер «ее», культуры, языка, а «язык» определяет и контролирует форму выражения этой культуры в слове. Эволюция русского литературного языка рассматривается на широком фоне других славянских (и не только их) языков, во всей совокупности «культурных преемств». Всесторонний анализ русского литературного языка в указанном кон-

тексте позволяет автору говорить об особой отмеченности этого языка среди других славянских литературных языков, в частности, из-за особой связи его с церковнославянской культурно-языковой традицией. «Итак, русский язык из всех современных славянских языков имеет за собой наиболее долгую и непрерывную литературно-языковую традицию. Путем непрерывного преемства он восходит к староцерковнославянскому, т. е. к потенциально-общеславянскому литературному языку конца праславянского единства. Эта преемственная связь с старой и продолжительной литературно-языковой традицией сообщает русскому языку целый ряд преимуществ. Прежде всего — преимущество чисто внешнее: однородность и устойчивость самого внешнего облика русского литературного языка. Такая устойчивость и однородность может существовать только у языков, опирающихся на продолжительную чисто литературно-языковую традицию, и поэтому совершенно независимых от народных говоров <...> Но главные преимущества русского языка, зависящие от преемственной связи со староцерковнославянским языком, касаются не внешней, а внутренней стороны его. Благодаря органическому слиянию в русском литературном языке церковнославянской стихии с великорусской, словарь русского языка необычайно богат. Целый ряд представлений допускает по-русски два словесных выражения: одно по своему происхождению церковнославянское, другое — русское. Из факта сопряжения в словаре русского литературного языка двух основных стихий <...> объясняются и некоторые дальнейшие особенности и особые „удобства“ русского языка. Прежде всего — совершенная техника образования „новых слов“. <...> Для того чтобы такие „новые слова“ стали действительно „этикетками“, обозначающими только данное понятие как таковое, необходимо, чтобы те уже существующие „старые слова“ <...> не имели слишком яркого конкретного значения: иначе ассоциация с этими значениями будет мешать воспринимать данное слово как простую „этикетку“ данного понятия. И вот тут-то русскому литературному языку приходит на помощь его церковнославянская стихия. <...> Таким образом, сопряжение великорусской стихии с церковнославянской сделало русский литературный язык совершеннейшим орудием как теоретической мысли, так и художественного творчества. Без церковнославянской традиции русский язык вряд ли достиг бы такого совершенства. Наблюдая современный русский литературный язык, убеждаешься в том, что преемство древней литературно-языковой традиции есть громадное преимущество. <...> Преемство церковнославянской традиции есть драгоценнейшее богатство; это богатство было потенциально дано всем православным славянам, и добровольный отказ от него, наблюдаемый, например, в сербохорватском или украинском литературном языке, есть безумие, самооскопление...». («К проблеме русского самопознания», с. 80—85). Трубецкой, исходя из этих особых свойств русского литературного языка как прямого продолжателя старой церковнославянской традиции, ставит вопрос о придании этим языковым свойствам соответствующего им культурно-исторического значения, подчеркивая, что если бы не особые политические и исторические причины, русский литературный язык имел бы все данные, чтобы стать языком междуславянского общения. С другой стороны, справедливо указывается, что «русский литературный язык, благодаря ряду исторически сложившихся обстоятельств, стал очагом литературно-языковой радиации для целой зоны литературных языков Евразии» («К проблеме русского самопознания», с. 89). Этому процессу, однако, существенно препятствует боязнь русификации. «Надо надеяться, — пишет Трубецкой, — что со временем обстоятельства изменятся: боязнь русификации имеет свои исторические причины, но с изменением характера русско-инородческих отношений основания этой боязни постепенно должны исчезнуть, а с ними вместе исчезнет и самая боязнь» («К проблеме русского самопознания», с. 92). Заглядывая в будущее, когда «русификаторские происки центрального правительства» уйдут в прошлое, автор пытается поставить вопрос о роли русского языково-культурного элемента в имеющем сложиться этно-психологическом евразийском единстве, когда «все народы

Евразии придут к сознанию кровного, психологического и культурно-исторического общеевразийского братства». Русский языковый материал постоянно присутствует и в других работах Трубецкого, в частности, фонологического цикла: обращение к фактам русского языка часто оказывается наиболее эффективным способом проверки «систематического» принципа и возможности соотнесения его результатов с данными диахронических исследований.

Второй круг языковедческой деятельности Трубецкого связан с выдвижением, обсуждением и решением многих теоретических проблем, которые в совокупности определяют контуры одной из наиболее глубоких и цельных теорий языка, созданных в XX в. Неизбежная краткость некоторых фрагментов этой языковой теории объясняет отдельные неясности, но, пожалуй, не нарушает общих контуров ее. Также и привязка отдельных теоретических проблем к конкретному, иногда даже кажущемуся случайным, языковому материалу обычно не мешает экспликации самой теоретической конструкции. Многообразие теоретических проблем, поднятых Трубецким (см. выше), условно может быть сведено к двум основным совокупностям. Одна из них — о типах языковых связей во времени и пространстве. Первые подходы к этой теме — в статье «Вавилонская башня и смешение языков» (1923) и в высказываниях, так или иначе связанных с «Праисторией», в частности, и таких парадоксальных, как, например, то, что «конец дочерней языковой общности не всегда должен быть хронологически более поздним, чем конец материнской языковой общности» или, что праславянский — понятие не чисто лингвистическое, а скорее географическое: континуум диалектов, где в разных частях общеславянские звуковые процессы могут реализоваться в разноразной хронологической последовательности. Многие работы, посвященные конкретным языковым явлениям, подчеркивают роль географического фактора и роль пространственного соседства, определяющего ареальный тип подобия языков и культур. Трубецкой говорит об ареально общих явлениях, накладывающихся и на генетически связанные и на генетически не связанные языки, и о том разнообразии, которое вносит каждый язык данного ареала в общую картину, в результате чего образуется «радужная сеть, единая и гармоничная в силу своей непрерывности и в то же время бесконечно-многообразная в силу своей дифференцированности». В ходе подобных дивергенций могут образовываться языковые единства особого рода — языковые союзы, определяемые пучком структурно единых соответствий и противопоставляемые другому типу подобия — языковым семьям, хотя это не исключает разных вариантов «наложения» друг на друга этих языковых единств, или отдельные изоглоссы, связывающие весьма удаленные друг от друга точки пространства. В этом смысле Трубецкой ввел понятие балканского языкового союза, подобно тому, как он говорит о таких «культурно-исторических» зонах, как мусульманская, индостанская, китайская, тихоокеанская, степная, арктическая и т. п.; выделил в пределах Евразии зону с сильным развитием склонений и зону (периферийную), где оно практически исчезло; объяснил специфику словацкого склонения как результат вхождения этого языка в два разных ареала (условно — польско-украинский и венгерский) и т. п. Помимо статьи 1923 г. о смешении языков нужно отметить выступление Трубецкого на Первом Международном лингвистическом съезде в Гааге в 1928 г. (о Sprachund и Sprachfamilie), доклад на Третьем съезде в Риме (1933) о крупных языковых группировках, заметку о лингвистическом атласе (1929, с вниманием к славянскому лексическому материалу), наконец, «Мысли об индоевропейской проблеме» (1939), с далекоидущей идеей о роли конвергенции в сложении «макроединств», трактуемых и как генетическая общность; ср. также письмо о географии склонения (1931) и статью о фонологии и лингвистической географии (1931). Мысли о роли дивергенции и конвергенции в эволюции языка, об их чередовании и результатах их совместного разнонаправленного действия дают Трубецкому возможность поставить вопрос о телеологии языкового развития в письме Р. О. Якобсону от 22 декабря 1926 г.:

«В истории языка многое кажется случайным, но успокаиваться на этом историк не имеет права: общие линии истории языка при сколько-нибудь внимательном и логическом размышлении всегда оказываются не случайными, — а следовательно, неслучайны должны быть и отдельные мелочи; все дело только в том, чтобы уловить смысл. Осмысленность эволюции языка прямо вытекает из того, что „язык есть система“. Я в своих лекциях всегда стараюсь показать логику эволюции. <...> Если де Соссюр не решился сделать логического вывода из своего же тезиса о том, что „язык есть система“, то это в значительной степени потому, что этот вывод противоречил бы не только общепринятому представлению об истории языка, но и общепринятым понятиям об истории вообще. Ведь единственный смысл, который допускается в истории, это — пресловутый „прогресс“ т. е. понятие мнимое, внутренне противоречивое и, следовательно, сводящее „смысл“ к „бессмыслице“. <...> Между тем внимательное изучение языков с установкой на внутреннюю логику их эволюции учит нас тому, что таковая логика есть и что можно установить целый ряд законов чисто-лингвистических, независимых от внелингвистических факторов „цивилизации“ и проч. Но, разумеется, эти законы не будут говорить о „прогрессе“ или „регрессе“, — и потому-то с точки зрения общих истоков ... в них не будет главного „состава“ законов эволюции. Такое осмысление эволюции языков именно поэтому и встречает противодействие. Другие стороны культуры и народной жизни тоже эволюционируют со своей особой внутренней логикой и по своим особым законам, тоже ничего не имеющих общего с „прогрессом“. И именно поэтому этнография (и антропология) этих законов изучать не хочет <...> Теперь формалисты в истории литературы встали, наконец, на путь изучения внутрилитературных законов: это дает возможность увидеть смысл и внутреннюю логику в развитии литературы. Эволюционные науки все настолько запущены в методологическом отношении, что сейчас „задачей момента“ является именно исправление метода каждой из них в отдельности. Время синтеза еще не наступило. Но, вместе с тем, не подлежит сомнению, что какой-то параллелизм в эволюции разных сторон культуры существует, — а следовательно, существует и какая-то закономерность, этот параллелизм обуславливающая».

В этом фрагменте, по сути дела, формулируется идея связи эволюции языка, т. е. его целенаправленного и закономерного развития, с системным характером самого языка, что, по логике вещей, предопределяет известную зависимость синхронии и диахронии (или, в гегелевской терминологии, «логического» и «исторического»). Другая совокупность теоретических проблем (кроме уже рассмотренной) как раз и связана с исследованиями языка как с и с т е м ы и с умением корректно описывать эту систему. Без решения этих задач и генетические (сравнительно-исторические), и ареальные, и типологические (ибо и языковой тип должен определяться не случайно-эмпирически, но через систему, как ее наиболее информативный представитель) исследования не могут быть поставлены на отвечающий требованиям современной научной методологии уровень. Именно поэтому последнее десятилетие своей жизни Николай Сергеевич посвящает преимущественно этой задаче, которая с каждым годом приковывает к себе все большее внимание ученого. Она становится основной в этот период его научной деятельности. И хотя Трубецкой оставил интересные и глубокие замечания о «системности» морфологии («О структуральной морфологии постоянно думаю. Намечаются всякие мыслишки. Думаю, например, что в области морфологии можно установить такие же группы однопланых различий, как и в фонологии <...> Различие между дизъюнктивными и коррелятивными противопоставлениями в морфологии столь же плодотворно, как и в фонологии. Вообще, исподволь начинаю подбирать материал по структуральной морфологии известных мне языков ...»). Из письма Якобсону от 28 января 1931 г.) и о «системности» лексики, в известной степени предвосхитив идеи Трира, не говоря об ученых более поздней формации, — главное внимание Трубецким было уделено исследованию з в у к о в ы х систем. Именно такой выбор был

самым разумным и целесообразным. На этом пути была создана фонология, и сейчас остающаяся наиболее «системной» областью языкознания и пока недостижимым образцом для описания других уровней языка. Основные работы Трубецкого в этой области — «К общей теории фонологических систем вокализма» (1929), «Фонологические системы» (1931), «Фонология и лингвистическая география» (1931), «Принципы фонологической транскрипции» (1931), «Современная фонология» (1933), «Фонологические системы сами по себе и в их отношении к общей структуре языка» (1933), «Характер и метод систематического фонологического представления данного языка» (1933), «Руководство к фонологическим описаниям» (1935), «Фонологические пограничные сигналы» (1936), «Снятие фонологических оппозиций» (1936), «Очерк теории фонологических противопоставлений» (1936), «Фонологические основания так называемого „количества“ в различных языках» (1936), «Количество как фонологическая проблема» (1936), «О новой критике понятия фонемы» (1937), «Проект фонологического вопросника для стран Европы» (1937); посмертно вышедшее — «Из моей фонологической картотеки» (1939), «Как должна создаваться звуковая система искусственного международного вспомогательного языка» (1939), «К фонологической географии мира» (1939), и, наконец, эпохальный труд «Grundzüge der Phonologie» («Основы фонологии», 1939). Методологически строгая постановка проблемы и введение ее в широкий круг теоретических идей, огромное количество обработанного языкового материала, относящегося к разным языкам, удивительная точность в трактовке фактов, глубокая интуиция в тех случаях, когда оказывалось, что для окончательных суждений материалов недостаточно, в сочетании с логико-классификаторским и систематизаторским даром автора — все это обеспечило книге особое положение в истории науки нашего века. Она — лучшее наследие той лингвистики межвоенного двадцатилетия (книга вышла в год начала второй мировой войны), которая усвоила уроки Соссюра — и пошла дальше, отметив своим появлением начало «пост-соссюрианской» эпохи в языкознании. Фонология дала исключительно мощный импульс для развития всего теоретического языкознания, стала наиболее надежной основой лингвистического структурализма и оказала глубокое влияние на формирование «эмического» уровня в целом ряде наук гуманитарного цикла. Рубеж, на который вывели науку о звуковой стороне языка «Основы фонологии», оказался настолько выдвинутым вперед по сравнению с другими областями языкознания, что перед фонологией открылись наиболее широкие просторы, и уже начиная с работы Якобсона 1939 г. именно фонология стала наиболее богатой идеями областью языкознания, давшей уже в послевоенные годы начало ряду других плодотворных фонологических концепций. Трубецкой, как и Якобсон, по праву считаются основоположниками современной фонологии и уже тем самым наиболее значительными фигурами структурализма.

В эти же годы Трубецкой занимался и литературоведением и отчасти фольклористикой. В некоторой степени эти занятия были вынужденными, поскольку по условию Трубецкой должен был читать довольно значительное число лекций по литературе. Поскольку языковедческие интересы в это время были безусловно преобладающими, отвлечение в сторону литературоведения в большей или меньшей степени тяготило Трубецкого. «С лета прошлого года я занимаюсь исключительно литературой, т. е. читаю курс истории русской литературы. По лингвистике совсем не работаю <...> За литературу принялся с большой неохотой...» (26 февраля 1926 г.); «Меня заставили читать речь о Достоевском в русском эмигрантском обществе. Подготовка заняла у меня целую неделю и выбила из лингвистической работы. Я ужасно не люблю такие вещи, они стоят мне громадных усилий...» (21 февраля 1931 г.); «В порядке обычного трехгодичного севооборота я в следующем семестре опять должен читать литературу. А так как желательно и доходу прибавить, то объявил я курс не более и не менее как о Достоевском! Все лето и всю осень буду заниматься только им. Лингвистику пока на полку! Очень скучно. Но Вы не ругайтесь. Такие передышки у меня иногда приносят хорошие результа-

ты» (13 июля 1931 г.); «Я, как вернулся из Франции, так засел за Достоевского. Все прочее страшно запустил. Теперь, приготовив первую часть курса, позволяю себе несколько отдохнуть от Достоевского и заняться запущенными делами» (первая неделя ноября 1931 г.); «Я совсем обалдел со своим Достоевским. До каникул прочел первый период (до ссылки). После Нового Года начну второй, наиболее ответственный. Написано у меня еще только 4 лекции, а надо 20! При том, надо уложить в них все большие романы. Все это надо успеть в один месяц. А между тем, мне это уже осточертело, и я работаю из рук вон плохо и медленно» (около 20 декабря 1931 г.), — последовательно сообщает Трубецкой об этих своих занятиях Якобсону.

Разумеется, по высказываниям такого рода нельзя судить о Трубецком как о литературоведе, но скорее — как о лекторе-«поденщике», спешащем выполнить программу и выкроить время для любимых занятий. Восстановить образ Трубецкого-литературоведа — задача особого исследования. При этом нужно помнить, что ни одна из трех «литературоведческих» книг Трубецкого не вышла при жизни, и, строго говоря, все они оставались в виде лекционных записей соответствующих курсов. Более того, нет никакой уверенности, что он захотел бы издать их, по крайней мере, в том виде, как они были опубликованы посмертно. Ср. вышедшие на немецком языке книги о русских писателях (преимущественно поэтах) XVIII и XIX вв., с подзаголовком — «Очерк истории развития» (1956); о Достоевском как художнике, (1964); о древнерусской литературе (лекции), (1973). При жизни Трубецкого вышло лишь несколько небольших работ по русской литературе и фольклору — «„Хождение за три моря“ Афанасия Никитина, как литературный памятник» (1926), «Н. В. Гоголь» (1928), «К вопросу о стихе „Песен западных славян“ Пушкина» (1937) (в письме от 24 июня 1929 г. сообщается: «Страшно занят лекциями о Пушкине (всего Пушкина надо уложить в 4 лекции, при этом все-таки что-то дать интересное)»), «О метрике частушки» (1927), «О стихе русской былины» (1937); о работах по фольклору других культурно-языковых традиций упоминается выше. Собственно говоря, лишь статья о «Хождении за три моря» дает основания судить с достаточной надежностью о Трубецком как историке литературы. Несмотря на несогласие с основными результатами этого исследования со стороны некоторых критиков и наличие в статье отдельных не вполне доказанных утверждений, ей нельзя отказать в несомненной оригинальности, проявляющейся прежде всего в общем взгляде на этот памятник и в анализе его композиции. Трубецкой рассматривает «Хождение» не как непосредственные, почти синхронно делаемые записи о впечатлениях путешественника, но как сложный литературный и при этом художественный (эстетически отмеченный) текст, нуждающийся, по крайней мере для современного читателя, в «дешифровке», своеобразной экспликации эстетических смыслов, *valeurs*. Трубецкой предлагает весьма смелое для своего времени решение — «подойти к произведениям древнерусской литературы с теми же научными методами, с которыми принято подходить к новой русской литературе. Лишь в этом случае открывается возможность воспринимать и самую художественную ценность этих произведений». Отмечая, что «наши эстетические мерилы настолько отличаются от древнерусских, что непосредственно эстетически чувствовать древнерусские литературные произведения мы почти не можем», Трубецкой, по сути дела, предлагает восстановить эти «старые» эстетические мерилы с помощью анализа композиционной структуры текста «Хождения». Основной композиционной конструкцией («приемом»), по Трубецкому, является чередование «довольно длинных отрезков спокойного изложения с более короткими отрезками религиозно-лирических отступлений», во-первых, и, во-вторых, определенная симметрия в пределах «длинных отрезков спокойного изложения»: «динамический» характер в начале и конце повествования при «статичности», достигающей своего пика в середине текста. Существенны соображения Трубецкого о роли «экзотических» языковых элементов, имеющих целью произвести на читателя определенный эффект и вовсе не рассчитанных на понимание их (нечто вроде «уста-

повки на выражение» у формалистов), а также идея о «переворачивании наизнанку языковых выражений» в тексте: в Индии Афанасий Никитин молится «по-русски», приехав в Россию, он записывает свои мысли «по-восточному», что отражает «переворачивание психического состояния», выражаемое, можно добавить, общим приемом «ухода» от принятого в данном месте языкового узуса. Как бы ни относиться к частностям и как бы ни расценивать вывод Трубецкого о том, что «Хождение» было написано уже после возвращения из путешествия, перед нами оригинальная концепция, главной идеей которой нужно считать невозможность игнорирования «художественных» элементов в этом тексте и сведения его к типовым путевым запискам. Эстетическая отмеченность природы самого автора — лишний подтверждение верности исходной установки Трубецкого.

Из переписки с Якобсоном видно, что в литературоведении более всего ценил и чем в первую очередь был озабочен Трубецкой. Этим главным для него было место, который он соотносил с общей методологией наук гуманитарного цикла. Несомненно, что Якобсон, которому литературоведческие интересы (особенно поэтика, метрика) были ближе, чем Трубецкому, и который лично был связан с поэтами футуристами, существенно вовлек его в эту сферу, и наиболее интересные и диагностически важные суждения Трубецкого обнаруживаются именно в письмах, обычно в связи с соответствующими работами Якобсона или обсуждением трудов и идей русских формалистов, которых Трубецкой высоко ценил. Уже в письме от 28 июля 1921 г. по поводу книги Якобсона «Новейшая русская поэзия» он сообщает, что предыдущее его суждение об этой книге — плод недоразумения: «Моя критика была неправильной и была мимо цели именно потому, что я не понял и не усвоил Ваших основных принципов. Оправданием мне может служить только то, что такое непонимание стало возможным благодаря неудачному Вашему изложению». Усвоив точку зрения Якобсона и признав ее самодостаточной, Трубецкой продолжает: «Спорить можно только о правильности самой точки зрения, о том, должна ли наука о литературе исчерпываться таким анализом, к какому прибегаете Вы. Мне кажется, нельзя упускать из виду, что литература есть фактор социальной жизни. А как только Вы подойдете к ней с этой стороны, то сейчас же Ваша точка зрения окажется недостаточной, неисчерпывающей. Фактически читатели производят эстетическую оценку литературных произведений. Для того, чтобы данное произведение стало фактом социального порядка, надо чтобы оно победоносно прошло через это „испытание вкусом“. Только тогда оно удовлетворяет читателей и порождает подражание, хотя бы в потенции. И, строго говоря, только при таких условиях оно и становится литературным произведением и входит как звено в историю литературы. Поэтому до известной степени правы те, которые говорят, что можно изучать только умерших поэтов. <...> Пусть, изучая умершего поэта, мы вкладываем в него то, что в нем не было и воспринимаем его не так, как воспринимал себя он сам или как чувствовали его современники. Мы все же изучаем определенную реальность: образец, вдохновивший последующие поколения и доставивший им определенное наслаждение. Что этот образец не тождествен с самоощущением поэта, что он, может быть, в гробу перевернется, узнав, что именно ценят теперь в его произведениях, — до этого науке дела нет: все равно этот образец есть фактор социальной жизни, очаг симпатического подражания, звено в цепи развития литературы, а следовательно, — возможный предмет изучения для исторической науки. Все это, конечно, не исключает и Вашего способа анализа, ибо предметы изучения по существу совершенно различные. Но я подчеркиваю, что все-таки Ваш метод не единственный, потому что он не исчерпывает всего понятия „литературного произведения“. Что в той науке, которая до сих пор называлась „литературной наукой“ и „историей литературы“ необходимо произвести реформы, так как она смешивает в себе самые разнородные и неотносящиеся к делу дисциплины, с этим я вполне согласен: но Ваша дисциплина, „изучение литературного языка“ все-таки не покрывает собою этой подлежащей реформированию науки <...> Во всяком случае, поэтика, как Вы ее понимаете,

⟨...⟩ является все же необходимым условием науки о литературе, и надо приветствовать Ваше стремление к этой дисциплине, так как до сих пор специалисты-лингвисты слишком мало ей занимались».

Письмо от 18 февраля 1926 г., обращенное к Якобсону, бросает дополнительный свет на литературоведческие интересы Трубецкого: «За литературу принялся с большой неохотой, но постепенно вошел во вкус, и теперь замечаю, что этот курс читаю с гораздо большим увлечением, чем курс сравнительной грамматики. В этом семестре читал только допетровскую литературу. Против ожиданий вышло недурно. Главное — совершенно не похоже на обычные курсы древнерусской литературы: иногда мне даже жалко, что среди слушателей нет специалистов, которые могли бы оценить экстравагантность моей постановки вопроса. Вы бы, вероятно, обрадовались, так как формальный метод подпушен в изрядной дозе. Но все-таки настоящим формалистом я себя признать не могу, ибо для меня формальный метод есть только средство для того, чтобы дать почувствовать дух произведения. Наши эстетические мерилы настолько отличаются от древнерусских, что непосредственно эстетически чувствовать древнерусские литературные произведения мы почти не можем ⟨...⟩ И вот тут на помощь нам приходит формальный метод. Уяснив себе „приемы“ древнерусских писателей и цели этих приемов, мы начинаем ощущать и самые произведения и постепенно „влезает в душу“ древнерусского читателя, встаем на его точку зрения. В этой области можно сделать массу неожиданных открытий. Эволюция литературы при этом подходе тоже предстает в совершенно новом виде. Очень часто получаются выводы, прямо противоположные выводам прежних историков литературы. Впрочем — и неудивительно, ибо эти прежние историки литературы совершенно паразитический народ: глухи и слепы до невероятия! ⟨...⟩ В результате получается, что древнерусская литература как литература вовсе еще не исследована, так что перед филологом открывается совершенно непочатый край. Меня особенно занимал формальный анализ памятников так сказать наименее литературных с современной точки зрения, — паломничеств, летописей и проч. Этих памятников, по-моему, до сих пор просто никто еще не читал: читали каждую отдельную главу или главку этих памятников, но самого памятника в целом, в сущности, не прочли и потому не заметили самого главного — литературной техники построения. В смысле этой техники среди таких русских памятников попадаются положительные шедевры. Таковым я считаю „Хождение Афонасия Никитина за три моря“, о котором хочу непременно написать маленькое исследование. Как видите, за время перерыва нашей переписки мои интересы уклонились в совершенно иную сторону. Впрочем, в глубине души я, конечно, прежде всего лингвист и буду очень рад, когда можно будет опять всецело отдаться лингвистике».

Очень существенны уже приводившиеся выше слова Трубецкого в контексте его рассуждений о внутренней логике эволюции культуры, которая не сводима к полюсам «прогресса» и «регресса». «Теперь формалисты в истории литературы встали, наконец, на путь изучения внутрилитературных законов: это дает возможность увидеть смысл и внутреннюю логику в развитии литературы».

Высокая оценка Трубецким научной деятельности русских формалистов (она подтверждается и более частными высказываниями, относящимися к отдельным ученым или их трудам) делает честь широте его взглядов и проницательности. При этом нужно помнить, что как историк культуры Трубецкой не мог не думать над теми же вопросами, которые стояли и перед формалистами, но помещал эти вопросы в более широкие рамки культурного и специально культурно-исторического пространства. Как и формалисты, он считал несостоятельной методологию традиционного литературоведения и понимал необходимость преобразований в этой науке, прежде всего обращения к «внутрилитературным законам». Лучшее в формализме, по его мнению, и состояло в этой переакцентировке внимания. Формалисты нашли главное звено цепи, которое помогло им внести столь выдающийся вклад в русское и мировое литературоведение. Их «про-

рыв» был остро-интенсивен и глубок, но за эти преимущества пришлось платить известным сужением взгляда и в ряде случаев невольным субъективизмом. Ни внутреннее, ни внешние условия не позволяли формалистам обрести должное равновесие в сложном соотношении факторов, определявших и литературоведение и самую литературу. С одной стороны, они находились на самом гребне передней волны и были обречены двигаться вперед вопреки всему (связь некоторых из них с новейшим направлением русской поэзии — футуризм — обрекала их на «левизну» и грозила соблазнами односторонности). С другой стороны, внешние условия были крайне неблагоприятны для того, чтобы осваивать сделанный «захват», расширять пространство исследования, выстраивать некую последовательность задач и, главное, спокойно работать над их решением.

Трубецкой принадлежал к другому культурному кругу и представлял отличный психологический тип ученого. К литературоведению он подходил извне, исходя из более широкой культурно-исторической сферы (к сожалению, нам мало что известно о литературных вкусах и пристрастиях Трубецкого и даже о специфике его «круга чтения»: в выражении этих своих предпочтений и отталкиваний он был весьма сдержан). Поэтому его позиция была шире, «равновеснее» и объективнее, чем у формалистов, но все-таки литературоведение и даже, видимо, сама литература были для него занятиями второго или третьего плана, а отчасти и вынужденными внешними обстоятельствами. Формалисты шли изнутри, их взгляд, вероятно, был уже и, конечно, субъективнее, но в этой субъективности, соединенной с динамичностью, было их несомненное преимущество — тем более, что они жили литературой и в литературе, а литературоведение было и их профессией, и их призванием. При всех указанных различиях речь никоим образом не идет о противостоянии, но о благотворном соотношении позиций, учете преимуществ иной точки зрения, стремлении к синтезу. Во всяком случае именно такими виделись Трубецкому отношения сотрудничества с формалистами (естественно, что полностью симметричными эти отношения быть не могли: Трубецкой для формалистов не был литературоведом, и его первая литературоведческая статья вышла лишь в 1926 г.; в полной мере об интересе Трубецкого к литературоведению мог судить лишь Якобсон).

Это сотрудничество не только не исключало, но и, напротив, предполагало полемику и откровенное выражение своих несогласий. Стиль и характер этого сотрудничества — без боевого задора, раздражения, соглашательства, комплиментов — людям конца XX в. может показаться удивительным. В связи с книгой Якобсона о новейшей русской поэзии Трубецкой пишет (7 марта 1921 г.):

«Теперь — о Вашей книге. Та оценка, которую Вы дали ей сами в Вашем письме, несомненно правильна. Как *книга* — это не хорошо и даже, пожалуй, не стоило печатать. Как *мысли* — есть много интересного и верного. Если отвлечься от неудачной формы, беспорядочного изложения, тяжелого языка и т. д., то в области содержания мне кажется можно отметить один недостаток: слишком большое пренебрежение эстетическим критерием. Пушкин, народная словесность, футуристы — все это совершенно разнородные величины именно в силу их совершенно различных эстетических подходов, взглядов (бессознательных или сознательных) на задачи поэзии. Отметить, что во всех этих видах поэзии встречаются одни и те же приемы — недостаточно. Приемы эти все-таки не одни и те же, именно в силу того, что они применяются людьми с совершенно различными эстетическими „системами поэтического мышления“. Кроме формы и содержания во всяком поэтическом произведении есть еще и эстетический подход, который, собственно, и делает произведение поэтическим. Если форму можно изучать независимо от содержания, а содержание — независимо от формы, то изучать и то и другое независимо от эстетического подхода нельзя. Это еще вовсе не означает введения момента оценки в объективную науку, ибо можно для каждого писателя охарактеризовать вполне объективно его эстетический подход и, совершенно не говоря, чей подход „лучше“ или „правильнее“, просто брать его как объективный

факт и с этой точки зрения („имманентно“) рассматривать творчество данного писателя. Без этого нельзя говорить об индивидуальном поэтическом языке. В Вашей книге Вы как будто пытаетесь охарактеризовать творчество Хлебникова. Но если по прочтении Вашей книги поставить себе вопрос, чем отличаются футуристы от Пушкина, то окажется, что отличие только „в степени“, а не в принципе. Между тем это неверно и не дает правильного представления об индивидуальных особенностях футуризма. Если бы Пушкин прочел Хлебникова, он просто не считал бы его поэтом. И произошло бы это, конечно, не потому, что футуристы применяют известные приемы не в той пропорции, к которой привык Пушкин, а в силу радикального различия в эстетических подходах. Суть футуристического подхода я формулировал бы так: 1) пристрастие к „обнажению“ (хорошее слово!) формы; 2) преобладание рефлексии над непосредственностью; 3) принципиальное нежелание довольствоваться обыденным языком и реальным изображением действительности; 4) принципиальное отвержение того, что в данное время признается красивым данной социальной средой. Все эти особенности (М. А. Петровский в одном разговоре назвал это „природоборчеством“) настолько были чужды и противоположны эстетическому подходу Пушкина, что он именно поэтому не нашел бы у какого-нибудь Хлебникова даже „состава“ поэзии. На все эти черты футуристов Вы в своей книге указываете, но слишком „мимоходом“. <...> Мне кажется, что Вы с одной стороны слишком боитесь уклоняться в оценку, а, с другой стороны, слишком поглощены Вашими соображениями по общей поэтике, которые спешите иллюстрировать примерами. Поэтому, вместо характеристики определенного индивидуального творчества получается скорее сборник примеров для известных общих положений, причем примеры случайно подобраны главным образом из произведений одного писателя. Думается, что лучше было бы прямо писать общую поэтику, и надеюсь, что Вам удастся это сделать. Такая общая поэтика у Вас может выйти очень интересной, ибо некоторые из мыслей, которые Вы высказали в Вашей книге, по-моему, очень ценны. Только, непременно пишите систематично, а то лучшие мысли пропадают. <...> Надеюсь, что Вы не обидитесь на меня за все эти советы. Я считал возможным высказать Вам свое откровенное мнение о Вашей книге не только потому, что Вы сами в Вашем письме определили свое собственное отношение к ней, но и потому, что искренне желал бы видеть написанную Вами *хорошую* книгу о поэтике».

Оценка русского литературоведения 20-х годов (в частности и формализма) может быть верной исключительно при условии учета того плодотворного разнообразия мнений и подходов, которое существовало в это время, но, к сожалению, не всегда могло быть продемонстрировано в печати. Во всяком случае ни приведенные выше соображения Трубецкого, ни мысли, высказанные в замечательной работе М. М. Бахтина «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве», написанной в 1924 г., но вышедшей в свет только через полвека, по разным причинам не могли быть услышаны лидерами формализма. Заслуживает внимания сходство Бахтина и Трубецкого в их главных упреках формализму — существенные методологические изъяны (узость взгляда и недостаточная проработанность теоретических оснований науки о литературе) и недооценка эстетического фактора (ср. у Бахтина — «...Претензия построить науку об отдельном искусстве независимо от познания и систематического определения своеобразия эстетического в единстве человеческой культуры» и «слишком большое пренебрежение эстетическим критерием» у Трубецкого). Эти упреки, которые одновременно оказываются и указанием пути к преодолению недостатков, эти упреки вызвавших, актуальны и для теоретического литературоведения наших дней.

Крайне неблагоприятная судьба литературоведческого наследия Трубецкого, опубликованного преимущественно много лет спустя после смерти ученого, как и многие прижизненные сложности для свободных занятий литературоведением, объясняют, почему и сейчас, через полвека после

смерти Трубецкого, его труды в этой области и особенно стоящая за ними концепция не привлекают к себе должного внимания и не стали предметом обстоятельного разбора. При оценке трех книг Трубецкого по русской литературе нужно помнить (помимо того, что они не были подготовлены автором к печати), что перед нами записи лекций, которые предполагали включение в них иллюстративного, справочного и иного материала, что, связанный долгом «лектора», Трубецкой обязан был изложить некое целое достаточно кратко, четко и с той степенью популярности, которая учитывала бы знания и уровень студентов (в частности, тем или иным образом, но лекции должны были строиться с расчетом на ознакомление студентов с содержанием анализируемых произведений). В этих обстоятельствах Трубецкой делал ставку не на детали, тонкости, внешние эффекты, но на концепцию, метод, связь с целым «культуры», на «художественно-эстетическое». И эта задача была выполнена им успешно. Поэтому в данном случае важнее отметить то, что составляло кредо Трубецкого-литературоведа.

Книга «Достоевский как художник», вероятно, наиболее показательна в этом отношении, что не означает отсутствия в ней весьма продуманной личной концепции писателя и его творчества и ряда психологически весьма тонких наблюдений. В частности, оценивая как источник сведений о Достоевском его собственные письма, Трубецкой пишет: «Не все данные, сообщаемые им о самом себе, оказываются по проверке правильными. (Это знает каждый, занимавшийся Достоевским.— В. Т.). Особенно осторожно нужно относиться к самообвинениям Достоевского,— клевета на самого себя была одной из странных, но очень характерных его черт» (а это наблюдение весьма тонко и глубоко и может быть подтверждено материалами, которые, возможно, и не были известны Трубецкому.— В. Т.). Точно так же ученый не уклоняется от формулировки совершенно верных положений, которые, однако, шли вразрез с общепринятым мнением и во всяком случае не могли быть доказаны в достаточной мере в лекционном курсе (ср. «В противоположность Толстому, Достоевский не тенденциозный писатель...» и далее: «Нельзя забывать, что Достоевский не тенденциозный писатель. За очень немногими исключениями он не стремился в своих литературных произведениях к пропаганде своих взглядов, не ставил себе целью кого-либо поучать или доказывать правильность тех или иных мыслей. Поэтому не следует читать между строк его произведений то, чего в них нет. Особенно ошибочно искать в них скрытое, символическое значение»).

Очень характерно начало книги о Достоевском, посвященное проблемам методологического характера. Признавая, что Достоевский привлекает внимание исследователей и как писатель-художник, и как мыслитель, и как человек и настаивая на важности рассмотрения каждого из аспектов, Трубецкой подчеркивает принципиальную недопустимость смешивания этих трех точек зрения, хотя источники каждой из них (соответственно художественные произведения, публицистика, письма или мемуарная литература) нередко обнаруживают смешанный характер и могут использоваться для характеристики разных аспектов личности Достоевского. «К области *литературоведения* принадлежит только „Достоевский-писатель“, „Достоевский-художник“. Литературовед исследует прежде всего форму, изобразительные методы, художественные приемы, тематику произведений писателя, в их постепенном развитии и окончательном завершении. Ибо то, что отличает литературное произведение от нелитературного сообщения мыслей и фактов, это именно *форма*. Литературная форма — вот что является специфическим для литературы, а следовательно, и единственным предметом изучения для литературоведения. Но форма, разумеется, неразрывно связана с так называемым содержанием. <...> Чисто научному, объективному исследованию поддается только форма, никогда не содержание; но через изучение формы можно проникнуть и в содержание, во внутреннюю сущность произведения. У Достоевского развитие формы и содержания идет совершенно параллельно. Изучая форму его произведений в ее постепенной эволюции, мы получаем одновременно

и историю содержания, и представление об эстетической ценности и о духовной сущности этих произведений».

Строго критически расценивая психоаналитическое (фрейдистское) и социологическое направления в литературоведении, в частности, в связи с попытками рассмотрения с этих позиций творчества Достоевского, Трубецкой решительно отвергает их претензии — «К литературе все это не имеет ни малейшего отношения. Как мы уже говорили, литературное произведение предполагает прежде всего художественный замысел автора, затем художественное впечатление, производимое им на читателя, и, наконец, художественные приемы, с помощью которых это впечатление достигается. Только при наличии этих трех условий простое сообщение мыслей становится литературным произведением».

Книга и посвящена тому, как эти принципы раскрывают смысл творчества Достоевского и его восприятие читателями. Каждое произведение, особенно ключевое, Трубецкой рассматривает как звено эволюционного историко-литературного ряда («Бедные люди» как соединение двух традиций 40-х годов — сентиментализма и натурализма. «...но не следует представлять себе это слишком схематически и просто считать Вареньку носительницей сентиментальной, а Девушкина носителем натуралистической традиции. Дело обстоит гораздо сложнее, синтез принес с собой сдвиг в обеих традициях, давший совершенно новые результаты. Так, например, в сентиментальных воспоминаниях Вареньки образ старика Покровского нарисован натуралистически; эта натуралистическая техника в сентиментальном окружении создает принципиально новый род стиля...»); кратко, но точно описывается композиция повести — не только в ее повторяющихся элементах (переписка, в которой каждый голос характеризуется своей эмоциональной доминантой, подверженной, однако, изменениям), но и в целом («Таким образом весь рассказ о событиях можно изобразить в виде хотя и зигзагообразной, но постепенно опускающейся линии, ведущей от весеннего оптимизма первого письма <...> к осеннему отчаянию последнего...», ср. также замечание о разбросе темы «бедных людей» по всем письмам или подгонке ее под ту же контрастирующую схему, или использовании ее для усиления основной фабулы); отмечается важная историко-литературная «новация» Достоевского: использовав старую эпистолярную форму с новой целью освещения душевной жизни героя изнутри (ранее он изображался только снаружи), автор как бы открывает смысл произведения. «Найденное разрешение задачи Достоевский проводит очень последовательно и систематически. (Так же осуществляет свою цель и Трубецкой в его анализе «Бедных людей». — В. Т.). Он как бы вселяется в своего героя, Макара Девушкина, и смотрит как на него, так и на окружающий мир, его же собственными глазами. Из *объекта* изображения Достоевский превращает его в *субъект*, т. е. делает его мыслителем и автором. Мысли и взгляды, высказываемые Девушкиным в письмах, принадлежат точно ему, а не Достоевскому, который не берет на себя за них никакой ответственности так же, как за язык, слог, манеру выражаться».

Благодаря ориентации на форму, вниманию к «приему» Трубецкой находит другой по сравнению с господствующим контекст и для таких произведений писателя, которые рассматривались как его творческая неудача. В частности, такой «другой контекст» находится и для «Двойника»: «Тот же самый прием превращения объекта в субъект <...> здесь выступает еще ярче. Техника описания в непосредственной близости, эта специфически „достоевская“ техника, достигает здесь уже высокой степени совершенства. В „Двойнике“ мы находим и многое другое, что впоследствии было развито и разработано писателем. Внутреннее раздвоение, борьба против собственного комплекса неполноценности, воплощение одной из сторон душевной жизни в виде искаженного изображения своей личности — все эти мотивы встречаются вновь в зрелых произведениях Достоевского...». Справедлив и общий вывод об итогах раннего периода в творчестве писателя: «Но хотя произведения 1846—1849 гг. остались незамечены публикой и были отвергнуты тогдашней критикой, для историка литературы (можно добавить: и для самого Достоевского. — В. Т.) они имеют громад-

ное значение именно как опыты, как та лаборатория, в которой вырабатывалось творчество писателя. В них лежит исток дальнейшего художественного развития, зародыш позднейших литературных приемов, эмбрионы будущих тем».

Подобным же образом, но с соответствующими изменениями, объясняемыми характером исследуемого материала, анализирует Трубецкой и последующие произведения писателя. Для каждого периода систематизируются те новые методы и приемы, которые обогащают арсенал Достоевского-художника. В результате, по мере перехода от одного произведения к другому, от раннего периода к переходному, а от переходного к заключительному, все отчетливее проступает историко-литературная доминанта книги, позволяющая судить, как и из чего формировался в творчестве Достоевского смысл целого, полнее всего раскрывшийся в последнем романе писателя. Только в последней фразе книги Трубецкой позволяет ввести элемент оценки — «В последний период, в пору расцвета, все до сих пор выработанные художественные средства были использованы для особой, новой формы — идеологически-психологического полифонического романа. Как непревзойденный мастер (*unübertroffener Meister*) этой формы вступил Достоевский в мировую литературу».

«Лекции по древнерусской литературе», вышедшие в свет через 45 лет после смерти Трубецкого, представляют собой записи соответствующего курса лекций, прочитанных в Венском университете в зимнем семестре 1925—1926 гг. (весной 1928 г. они были повторены). Эта очень краткая, очень четко построенная, характеризующаяся высочайшим уровнем синтетизма книга для 20-х годов была безусловно новым словом в науке, реализующим те идеи, о которых автор писал в цитированном выше письме Якобсону от 18 февраля 1926 г. Она в значительной степени сохраняет свое значение и сейчас, и отсутствие русского издания ее воспринимается как обидная, оскорбительная для русской культуры лакуна. Замечательно введение к книге. При всей его лаконичности оно и сейчас, пожалуй, остается лучшим, наиболее глубоким и синтетическим очерком проблемы, бросающим луч света в допетровскую эпоху, на ее религиозный и культурно-исторический уклад, на его связи с Византией и различия с Европой, на самоценность древнерусской литературы, которая, в отличие от иконописи, еще не открыта («*sie ist „unentdeckt“*» — как пишет Трубецкой) и которая должна, по замыслу ученого, быть рассмотрена в новом аспекте, в соответствии с новыми методологическими принципами. Короче говоря, этот метод был сформулирован самим Трубецким — «влезть в душу древнерусского читателя», т. е. усвоить его эстетические взгляды («мерила»), увидеть в старых текстах то, что видел или мог видеть он сам. Это и пытается сделать автор книги на материале, который или признавался лишенным эстетической, художественной ценности, или же рассматривался как крайняя периферия «художественного». Именно поэтому в центре внимания Трубецкого — летописи, паломничества, дидактическая литература (проповеди, жития), особая глава посвящена «Житию протопопа Аввакума»: исключением выглядит раздел, посвященный «Слову о полку Игореве». Плодотворность общих идей этой книги не вызывает сомнений, многое в ней воспринимается теперь как созвучное взглядам и настроениям сегодняшней науки, но все-таки эта книга и сейчас призывает к осмыслению древнерусской литературы в более широком контексте, с сознанием, что она воплотила сферу проявления высоких духовных «энергий» и что она все еще не до конца «открыта».

Книга о русских писателях XVIII—XIX вв. также представляет собой записи соответствующего курса лекций (зимний семестр 1928—1929 гг.). Преимущественное внимание уделено поэтам, хотя краткие разделы и при этом очень выборочно посвящены и прозе (сатирические журналы новиковской эпохи, комедии Екатерины II, Фонвизина, Лукина, «Путешествие» Радищева, проза Пушкина). Впрочем, и в очерке поэзии много лакун («пушкинская Плеяда» и др.). Принципы «опускания» имен не всегда понятны, и допустимы разные объяснения, в частности, и такие, которые снимают «вину» с автора книги. Наиболее отчетливо высту-

пающие особенности книги — оппозиция по отношению к русскому традиционному литературоведению с его эклектическим совмещением «художественного», «идейного» и «биографического» аспектов и попытка преодоления такого подхода за счет сосредоточения внимания на «художественном» и анализа его методом, который в зачаточной форме представляет собой структурную интерпретацию поэтических текстов.

Короткая заметка (текст лекции 1935 г.) «Литературное развитие Льва Толстого» интересна скорее не «литературным», а «человеческим» аспектом, окрасившим трагическими тонами и творчество писателя, и взглядом самого Трубецкого на Толстого. «Трудно говорить о Толстом. Толстой явление настолько многостороннее, что все стороны его охватить невозможно. А если ограничиться только одной стороной, то получается неверная картина, ибо на самом деле все его стороны теснейшим образом связаны друг с другом», — начинает Трубецкой. И кончает — «Окидывая взором литературную биографию Толстого, мы не можем не признать ее трагической. Инстинктивный, невольный протест против всего общепризнанного есть состояние крайне мучительное, точно так же, как и вечное копание в своей душевной жизни, разложение всякого душевного движения на его элементы. Ведь для человека естественно наоборот стремление слиться с окружающим, не противопоставлять себя другим и не замечать своей душевной жизни. Но Толстой не мог отделаться от этих мучительных свойств своей личности. И не будь этих свойств, не было бы ни Толстого-художника, ни Толстого-проповедника. Творчество Толстого было куплено этой ценой. Оно происходило из глубокой неудовлетворенной, вечно беспокойно ищущей, метущейся души. Обычно неудовлетворенные, беспокойные люди либо не доживают до старости, либо под старость успокаиваются. Толстой же дожил до глубокой старости в этом состоянии души. Нельзя не проникнуться глубоким состраданием при мысли о последних годах его жизни и о его странной смерти. Но это сострадание должно быть соединено у каждого русского с чувством благодарности за те высокие наслаждения, которые мы испытываем при чтении романов и повестей Толстого, этих плодов его измученного сознания».

И еще одно важное дело было исполнено Н. С. Трубецким. Это — его многочисленные, часто очень длинные письма, адресованные прежде всего Р. О. Якобсону (несколько менее 200 писем), а также Дурново, Тану-Богоразу, Мейе, Микколе, ван Вейку, Шишманову, Дорошевскому, Форххаммеру, Фишер-Йоргенсен (всего около двух десятков писем). Переоценить значение писем Трубецкого к Якобсону трудно. Научные идеи и изложенные здесь результаты часто на уровне лучших из опубликованных работ. Содержащиеся в письмах мысли историсофского и культурологического характера позволяют только по этому источнику восстановить оригинальную концепцию. Наконец, несмотря на всю сдержанность автора этих писем, именно здесь более всего обнаруживаются человеческие качества их автора — через биографические данные, содержание писем, сами слова, интонации, почти нулевые знаки, т. е. через все то, что составляет человеческий стиль личности. Ученый, мыслитель, человек обнаруживает себя — вольно или невольно — в этих письмах, и этот проступающий триединый облик исполнен высокого благородства, поразительной органичности и умения быть всегда самим собой, редкой притягательности. И если о Трубецком-ученом и мыслителе мы судим прежде всего все-таки по его опубликованным трудам, то о Трубецком-человеке теперешние поколения полнее всего могут судить по его письмам.

Несколько фрагментов из них — скорее о самом Трубецком, других людях, быте, интересах, времени, чем о науке, и скорее в человеческом ракурсе, чем в научном (даже в тех случаях, когда тема оказывается связанной с наукой):

«Очень рад был получить Ваше письмо и, конечно, буду весьма Вам признателен, если Вы сообщите мне про Москву. <...> Мне очень было бы интересно узнать как можно больше, по возможности все. Что случилось с нашими обществами, с Этнограф. Отд., Комисс. по Нар. Слов., Диалект.

Ком. и О-вом Всеобщей Литературы? Продолжают ли они существовать и в каком виде? Были ли какие-нибудь интересные рефераты? Организовалось ли Лингвистическое Общество, о котором незадолго до моего отъезда мечтал Поржезинский? Далее, — *personalia*. Что поделывают все наши общие знакомые, профессора нашего факультета, далее Ушаков, Дурново..., Н. Н. Соколов, Петерсон, Пешковский, бр. Соколовы и бр. Петровские, Лукьяновский, Яковлев, Богатырев, Богданов, Гордлевский, Елеонская? Правда ли, что умер проф. Л. М. Лопатин, и при каких обстоятельствах? <...> Продолжали ли Вы Ваши научные поездки? Вышли ли какие-нибудь интересные книги по нашей части, выходят ли журналы, напечатаны ли Ваши Верейские материалы и Богатыревские и Яковлевские северные записи? До меня только дошел слух о диссертации Дурново, но получить ее так и не удалось. Вообще я страшно изголодался в научном отношении» (12 декабря 1920 г., первое письмо после России);

«В Москву же Вы пока лучше не ездите, раз возможность Б. Лубянки не исключена. Конечно, может быть, рано или поздно все туда попадем, но в данном случае лучше уж поздно, чем рано. С большим интересом читал я то, что Вы пишете о научной работе в Москве. Действительно, в этом есть что-то героическое. Особенно интересно было мне узнать, что так много работали над ритмом. <...> Рукопись моя о ритмическом строе... осталась в Москве в доме моего тестя, где теперь военно-революционный штаб, и, вероятно, пошла на растопку. Частушки остались в Ростове, очевидно, на то же употребление» (1 февраля 1921 г.);

«Недавно получил письмо из Москвы, очень интересное... Пишут, что в нынешнем году Москва в умственном отношении очень оживилась. Несмотря на закрытие филологического факультета все молодые филологи работают, читают доклады и т. д. Тут же сообщается фантастический проект какого-то высшего учебного заведения... Общий тон письма бодрый. Производит впечатление, как будто несмотря на все лишения люди стараются жить умственной жизнью и уже нашли какой-то *modus vivendi* в этом отношении. Тем более ужасно слышать о засухе и о надвигающемся настоящем голоде. До сих пор в сущности настоящего, стихийного голода не было, а было недоедание, составляющее часть „режима“ и, по-моему, весьма искусно использованное для укрепления власти. Но что будет теперь, когда действительно имеется стихийный неурожай? Вообще думать о России тяжело и жутко, особенно тем, кто не желает прятать голову под крыло и создавать себе иллюзии. Тамошние правители производят на меня впечатление всадника, великолепно умеющего сидеть на диком коне так, чтобы не упасть, но совершенно не умеющего управлять конем и не знающего даже, куда ехать (конь сам едет). Но именно в силу этих свойств всадника, ему рано или поздно придется не свалиться, а *слезть*. Всякий другой всадник не удержится, слетит. А конь без всадника попадет к конокрадам... При таких условиях непременно конокрады в конце концов поймут и „укротят“...» (28 июля 1921 г.);

«Статья Марра превосходит все, до сих пор написанное им. Но „пригвоздить“ ее рецензией — трудно. Во-первых, негде, а во-вторых, по моему глубокому убеждению, рецензировать ее должен не столько лингвист, сколько психиатр. Правда, к несчастью для науки, Марр еще не настолько спятил, чтобы его можно было посадить в желтый дом, но, что он сумасшедший, это, по-моему, ясно... Даже и по форме статья типична для умственно расстроенного. Ужасно то, что большинство этого пока еще не замечает... Сообщите мне, пожалуйста, новый адрес Яковлева. Я хочу... еще раз попытаться оттащить его от Марра» (6 ноября 1924 г.);

«Книга Бубриха „Севернокашубская система ударений“ обладает несомненными и явными признаками гениальности — несмотря на то, что может быть теории Бубриха придется отвергнуть. Нравится мне и его пренебрежение библиографией и критикой чужих взглядов, и его „алгебраичность“. Кто он? Что Вы об нем знаете?» (10 марта 1925 г.);

«Над анкетой для „языков СССР“ размышляю. Постараюсь написать в ближайшее время. <...> Только бы, действительно, вышло что-нибудь

путное. Двухсот языков, конечно, не наберется» (и далее предложения по подбору авторов и разным деталям этого издания.— В. Т.) (24 июня 1929 г.);

«Дурново пишет, что среди московской лингвистической молодежи у нас есть горячие поклонники, в частности, Володя Сидоров. Кто это такой? Вообще структурализм у московских лингвистов сейчас в ходу, об этом много разговаривает Петерсон и его ученики. Особенно это применяется в диалектологии. Очень жалко, что русская научная жизнь сейчас так раздроблена и неорганизована. Славистика почти вовсе упразднена» (до 29 июня 1930 г.);

«Ягодич вернулся из Москвы совершенно подавленный. Рассказы его жутки и безотрадны. Самое ужасное то, что искоренение интеллигенции популярно в самих широких народных массах и является действительно „общим делом“, которому помогают все с энтузиазмом. С интеллигенцией вместе искореняется и вся духовная культура и наступает полное одичание во всех областях, при том одичание стихийное и, так сказать, органическое, не искусственное. Это уже больше не искусственные эксперименты каких-то оторванных от почвы мечтателей, а реальный и неподдельный пролетариат, строящий не какую-то высшую культуру, а такую культуру, которую он понимает, культуру действительно пролетарскую, т. е. совсем низменную, элементарную и одичавшую... Между прочим, оказываются, что ученые, вычищенные отовсюду за немарксистские убеждения, лишаются права быть напечатанными. Имена их сообщаются во все редакции и во все отделения госиздата, и зорко следят за тем, чтобы они и под псевдонимом нигде не печатались. Пересылка рукописей за границу теперь вообще допускается только с специальным разрешением. Т. о. многие из ученых, вычищенных по той или иной причине, должны почитаться умершими для науки...» (3 октября 1930 г.);

«Действительно, я очень сердился на Ваше долгое молчание. Не настолько уж Вы заняты, чтобы не урвать минутку на открытку. Если фонология Вас просто перестала интересовать, то надо ликвидировать „Arbeitsgemeinschaft“, но хотя бы для одного этого необходимо списаться. Мне будет невыразимо грустно и досадно, если Вы дадите „среде“ засосать Вас, уйдете от международной лингвистической проблематики в провинциальную кружковщину и разменяетесь на полемику с „партией Вейнгарта“ и тому подобные мелочи. Журналистика имеет известные притягательные стороны, которые, однако, при ближайшем рассмотрении оказываются мишурой. „Связь с живой действительностью“ на самом деле подменена скольжением по поверхности жизни; „многогранность“ подменена безгранностью, т. е. духовной пустотой. Бытовая богема, связанная с журналистикой, ведет к умственной богеме и убивает научную мысль. У Вас всегда была тяга к богеме. В молодом возрасте это безопасно. Но рано или поздно наступает возраст, когда надо „остепениться“. Вы пишете, что у Вас нет новых научных мыслей, что Вы иссякли, что Вам необходима „измена теме“... А я думаю, что именно это Вам и мешает научно творить. В Вашу научную бесплодность я не верю. Полагаю, что *mutatis mutandis* у Вас происходит то же самое, что у меня: переход от чересчур затянувшейся умственной молодости к умственной зрелости. Зрелось не есть еще старость и не знаменует собой бесплодия. Зрелые люди не только не перестают творить, но, наоборот, создают самое ценное из всего того, что оставляет потомству. Только творят они иначе, чем молодые. К этому новому методу творчества сначала трудно привыкнуть. Сначала кажется, что вообще ничего больше нет, все кончилось. <...> Это — от непривычки. На самом деле беспокоиться нечего: будете творить, — только иначе, чем прежде. Подсознательно Вас беспокоит именно то, что будет не то же, что прежде. Но, уверяю Вас, — это — не страшно. Что проиграется на блеске и эффектности, выиграется на солидности конструкции. Вспомните, как мы с Вами творили до сих пор. Печатный станок за нами не поспевал... Одна конструкция сменялась другою. Это — типично молодое творчество. Теперь, вероятно, *этого* уже больше не будет. <...> В эту мысль надо вжиться, и тогда все будет хорошо. А вот если не

вжиться и начать бунтовать,— вот тогда может стать плохо. Если Вы под предлогом прекращения Вашего научного творчества уйдете в чешскую журналистику, то очень скоро, действительно, обездаритесь, опуститесь и морально разложитесь. Попытки увековечить молодость — бессмысленны. Переход от молодости к зрелости есть закон природы... Каждая стадия человеческой жизни имеет свои плюсы и минусы. Зрелость не хуже молодости. А главное дело,— быть самим собой...» (25 января 1925 г.);

«Где находится Селищев и что Вам о нем известно! Наш проф. N. Jokl (албанист) послал ему заказным свои оттиски и получил их обратно с пометкой Московского Почтамта „выехал в Казань“ и Казанского Почтамта „вернуть в Москву“...» (10 октября 1935 г.); и т. д. и т. п.

В письме от 5 октября 1936 г.— выражение удовлетворения Копенгагенским лингвистическим Конгрессом и особенно его атмосферой. «То ощущение одиночества, которое меня в Вене так угнетает и так мешает работать, стало как будто рассеиваться. Оказалось, что нас много... После Рима какой-то скачок. Кроме всего прочего тут еще сдвиг поколений. Поколения всегда передвигаются скачками. В Копенгагене впервые обнаружилось, что не только мы занимаем какие-то командные посты, но что за нами есть еще и молодежь, учившаяся на наших писаниях и способная самостоятельно работать. Как бы то ни было, но конгресс меня подхлестнул».

Работа, действительно, продолжается. Но настроение становится все тревожнее: вести из России и Германии не оставляют надежд и вынуждают ждать еще более трагического поворота истории. Учащаются болезни: они разные, но похоже, что все они функция какого-то внутреннего состояния. Говоря о трудностях «венского» периода жизни, нужно напомнить, что еще в 1926 г. тридцатилетний Трубецкой перенес нечто вроде удара. «Очень тронут Вашим беспокойством, а также Вашим предложением денег взаймы на лечение,— пишет Н. С. Трубецкой 19 сентября 1926 г. Р. О. Якобсону.— Сердечно Вас благодарю. Но мне, право, теперь не нужно. Три недели в санатории и два месяца в деревне на лоне природы, кажется, совсем восстановили мое здоровье. Во всяком случае, я теперь чувствую себя совершенно здоровым. Собственно, так и неизвестно, что у меня было. Сначала предполагали удар, но симптомы паралича (афазия и аграфия) длились так недолго и так быстро бесследно исчезли, что директор санатории, в которую я через пять дней после припадка попал, отрицал, чтобы это был удар и предполагал какой-то „Gehirnkrampf“. Во всяком случае, лечение мое состояло в полном покое, запрещении пить и курить и в наблюдении за давлением крови (чуть-что — йод). В настоящее время я, как сказано, совсем оправился и опять могу работать, но, конечно, впредь буду осторожнее и не буду перегружать себя работой».

Но осторожнее Николай Сергеевич не стал. Что же касается обещания не перегружать себя работой, то достаточно напомнить, что за 12 оставшихся ему лет жизни он и написал подавляющее большинство своих работ и прежде всего важнейшие из них. Но едва ли эта «перегруженность» работой была главной причиной болезней (в последние годы участились приступы *angina pectoris*; в письме от 20 сентября 1937 г. сообщается о неудачном лете, проведенном в месте, не подходящем для здоровья: «по приезде в Вену у меня обнаружилось переутомление сердца, и меня уложили в постель. Доктор обещает, что это только на несколько дней»). К смерти влекла какая-то другая сила, и сами болезни были скорее следствием некоей более высокой телеологии, сочетавшей в себе наследственную расположенность к ранней смерти и глубокое душевное и телесное переживание предощущаемой общей катастрофы, признаки которой он устанавливал с замечательной диагностической точностью и, вероятно, осознанно или подсознательно, чисто физиологически соотносил с приближающимся концом своей жизни.

Во всяком случае именно в разгаре тревог, связанных с уже неминуемым «аншлюссом» Австрии, 8 марта Трубецкой попадает в больницу и проводит там три недели. Это было началом конца. В начале апреля он

еще пишет Якобсону: «Мое здоровье постепенно улучшается, но процесс этот идет медленно. Из клиники меня выпустили, но дома я должен лежать еще недели 4—5, постепенно переходя к сидячему положению. Потом постепенно буду приучаться ходить и т. д. Одним словом, ассистент клиники думает, что если не наступит никаких осложнений, я совсем поправлюсь к октябрю. Трудно выяснить, что при этом разумеется под полным поправлением. Между тем, от этого зависит все дальнейшее. Если к октябрю выяснится, что я все-таки остаюсь инвалидом и руиной и на полную нагрузку неспособен,— то я подам в отставку и буду коротать дни на пенсии где-нибудь в провинции: занимать кафедру, не будучи в состоянии работать, я не хочу. <...> В связи с болезнью невращения у меня разыгралась до крайних пределов. Работать совсем не могу. Это письмо пишу вот уже три дня...» (и чуть далее, как бы спохватившись): «Все забываю Вам сообщить, что сведения Поливанова о ботокудском языке неверны. В боток. слов. *Vr. Rudolph'a* есть целый ряд слов, различающихся между собой только противопоставлением *b — m, d — n, g — ng*».

И через месяц, 9 мая 1938 г., в последнем, продиктованном жене, письме Якобсону: «Здоровье мое опять ухудшилось, образовался какой-то „инфакт“ в легком, так что я опять переехал в клинику. Теперь температура спала, „инфакт“ рассасывается, но лежу не двигаясь, сидеть запрещают. Когда все это кончится — неизвестно». И после обсуждения ряда фonoлогических вопросов и напутствий Якобсону, собиравшемуся ехать на фonoлогический съезд в Гент, заключительное — «Научных мыслей нет, писать не хочется, невращения неопишуемая... Ну ничего, как-нибудь!» Это письмо было передано Якобсону общей знакомой, которая вскоре передала Трубецкому устное сообщение Романа Осиповича о том, что князь Лобкович приглашает всю семью Трубецких переехать из Австрии в Чехословакию, в его замок в Роуднице. Трубецкой, выразив глубокую благодарность, от приглашения отказался: он не сомневался, что следующей жертвой будет именно Чехословакия. Обстановку последних месяцев жизни Николая Сергеевича проясняет письмо его вдовы В. П. Трубецкой от 4 февраля 1958 г. публикатору второго немецкого издания «Основ фonoлогии»: «Новый режим принес ему большие личные заботы: он никогда не скрывал своего антинационал-социалистского направления мыслей и даже написал статью о расовом вопросе, где он подверг расовую теорию уничтожающей критике. В случае выздоровления эмиграция представлялась ему единственным выходом» (речь могла идти об Америке. — *В. Т.*). Угрозы быстро превращались в реальность: в доме тяжело больного человека появились гестаповцы и учинили обыск. Это привело Трубецкого в такое возбуждение, что у него случился тяжелый приступ *angina pectoris*, и в конце апреля Николай Сергеевич снова попадает в больницу, чтобы уже никогда не вернуться домой. Сначала ему стало несколько лучше, он начал работать, диктовал жене. Смерть наступила внезапно 25 июня 1938 г.

Николай Сергеевич Трубецкой был великим ученым и глубоким, оригинальным мыслителем. Но в нем воплощался и замечательный и редкий тип человека, который был порожден всем ходом развития русской истории и духовной культуры и о котором говорил герой романа Достоевского. Достаточно посмотреть на фотографии Николая Сергеевича, чтобы понять масштаб личности и такую концентрированность духовной энергии, которой не может не соответствовать подобное и в физическом плане. Петр Григорьевич Богатырев, чьими устами нередко говорила сама истина в ее парадоксальной форме, однажды в 60-х годах, будучи спрошен своими молодыми собеседниками, что за человек был Трубецкой, на минуту задумавшись и расплываясь в блаженнейшей улыбке, сказал: «Он был настоящий аристократ!» А когда Петра Григорьевича спросили, в чем эта черта проявлялась в Трубецком, он ответил: «Он был настоящий демократ!» Все рассмеялись, но за парадоксальной формой характеристики стояла вполне конкретная реальность: речь шла о том высшем чувстве равенства, которое есть только у натур выделенных, отмеченных, исполненных высшего благородства. Чувство равенства у человека, добровольно отказы-

вающегося от своей отмеченности как основания для преимуществ, в свете нравственности весит больше, чем равенство равных и все другие варианты равенства. Именно в этом случае возникает подлинное чувство братства, отзывчивость к «другому», готовность к жертве. Это и есть проявление той широты, которая неотделима от самопознающего движения вглубь своей души и потому ведет не к распылению, но к трезвительному собиранию души, к мысли, слову и делу, этому движению соответствующим.

Такая душевная конструкция только и может сочетать крайности — широту, полет, размах, движение вовне и тонкость, центрированность, сосредоточенность, движения внутрь; интуицию и логику, смелость мысли, трезвость ее, «теоретичность» и «практичность», самодостаточность и открытость *другому*, способность к познанию себя и *другого*; уравновешенность, серьезность, выдержку, самообладание и темперамент, порыв, горение и т. п. — т. е. все то, что в сочетании с поразительной одаренностью ума и души, многогранностью талантов и интересов, поразительным трудолюбием и направленностью на целое как единственное жилище истины как раз и определяло суть Трубецкого-человека. Эта суть без труда опознается и в Трубецком-ученом и Трубецком-мыслителе. Но есть и то, чего мы не знаем, — скрытый мир души. Не знаем мы и того, где и как тайл он свою боль и боль своей родины.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Balcerzan E.* Liryka Juliana Przybosa. Warszawa, 1989, 176 s., il.
- Bamborschke U., Werner W.* Bibliographie slavistischer Arbeiten aus deutschsprachigen Fachzeitschriften, nichtslavischen Zeitschriften sowie slavistischen Fest- und Sammel-schriften, 1974—1983. Wiesbaden, 1989, 745 S.
- Beňck A., Domaňsky J.* 21. srpen 1968. Praha, 1990, 157 s., il.
- Benešić J.* Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. Zagreb, 1988—1989.
- Birnbaum H.* Novgorod and Dubrovnik: Two Slavic city republics a. their civilization. A comparative sketch. Zagreb, 1989, 33 p.
- Charta 77, 1977—1989: Od morální k demokratické revoluci. Dokumentace / Uspoř.* Prečan V. Bratislava, 1990, 526 s.
- Ceská literární věda... Bohemistika.* Praha, 1989, 261 s.
- Cienki A. J.* Spatial cognition and the semantics of prepositions in English, Polish and Russian. München, 1989. 172 S., Ill.
- Doder M.* Jugoslavenska neprijateljska emigracija. Zagreb, 1989, 297 s., 6 l. il.
- Havel V.* O lidskou identitu: Ubahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969—1979. Praha, 1990, 397 s., il., bibliogr.
- Encyklopédia literárnych diel / Zost. Knězek L.* Bratislava, 1989, 858 s. 12 l. il.
- Kállay I.* A városi önkormányzat hatásköpe Magyarországon, 1686—1848. Budapest, 1989, 418 old.
- Knjižná kultúra na južnom slovensku v minulosti a v súčasnosti.* Bratislava, 1989, 193 s.
- Lasecka Zielakowa J.* Powieść poetycka w Polsce w okresie pomantyzmu. Wrocław etc., 1990, 210 s.
- Mediaevalia philosophica polonorum.* Wrocław etc. 1990, 211 s.
- Miłosz E.* Procesy przemian biologicznych średniowiecznych populacji z Pomorza Zachodniego. Poznan, 1989, 143 s.
- Miscellanea staropolskie / Red. nauk. Ulewicz T.* Wrocław etc. 1990, 487 s.
- München 1938: Des Ende des alten Europa.* Essen, 1990, 474 S.
- Nasza przeszłość: Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce.* Kraków, 1990, 338 s.
- Nawrocki W.* Polskie życie literackie w latach 1944—1959: Postawy i wybory. Zarys problematyki. Warszawa, 1989, 204 s.
- Oberkofler G., Radojsky E.* Wissenschaft in Osterreich (1945—1960): Beiträge zu ihren Problemen. Frankfurt a. M. etc. 1989, 242 S.
- Obremski K.* Obraz Bogu w polskiej liryce religijnej XVII wieku. Toruń, 1990, 104 s., il.
- Požar P.* Jugoslaveni — žrtve stalinskih čistki: Dokumentarna kronika. Beograd, 1989, 368 s.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Φ. Μαλινγκούδης. Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα Θεσσαλονίκη, 1988, 432 σ.

Ф. МАЛИНГУДИС. *Славяне в средневековой Греции*

Рецензируемая монография открывает новую серию изданий, которая выходит в Салониках под названием «Библиотека славянских исследований». Планируется издать второй и третий тома серии: монографию Ф. Малингудиса «Христианизация Руси» и сборник статей «Русь и средневековый эллинизм», подготовленный с участием советских исследователей. Издания серии, как можно судить по первому тому, кроме сугубо исследовательских, имеют также задачу ознакомления широкого круга историков с наиболее важными и дискуссионными проблемами взаимодействия славянского и греческого миров.

Во введении (с. 7—12) автор справедливо отмечает недостаточную разработанность темы «Славяне в Греции», хотя начало ее изучению было положено более полутора веков назад. Проблема взаимодействия славян и Византии имела, по замечанию греческого ученого, свою «светлую» и «теневую» стороны. Первый аспект лучше обеспечен источниками и всегда привлекал внимание исследователей. Он связан с византийским влиянием в области политики, права, культуры и т. д. на ту часть славянского мира, которую принято называть *Slavia Orthodoxa*. Проблема же повседневного общения славянского и местного населения в греческих провинциях империи почти не изучена, хотя существуют два диаметрально противоположных взгляда на характер и последствия их симбиоза. Поэтому вполне закономерно обращение автора к этой стороне славяно-греческого взаимодействия, которую он рассматривает не столько на базе традиционных письменных памятников, сколько на основе привлечения нового источникового материала. Кроме того, Малингудис ставит вопросы об экономической и политической организации славян в Гре-

ции, которые, по его мнению, практически не исследовались. В этой связи уместно заметить, что в последние годы они рассматривались в некоторых работах: таких, например, как «Раннефеодальные государства на Балканах» (М., 1985), «Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей» (М., 1987).

В первой главе, «Экономическая организация» (с. 13—22), рассмотрены характер хозяйственного типа у славян и уровень развития их земледельческой технологии в сравнении с византийской. Автор особо подчеркивает, что уяснение этих вопросов имеет значение для понимания проблемы поселения славян в Византии. Считая необходимым вновь вернуться к старой дискуссии о том, были славяне кочевниками или земледельцами, он приводит доводы в пользу земледельческого характера их хозяйства, опираясь при этом на данные лингвистики и археологии, возможности которых, как показывает его работа, далеко не исчерпаны. Один из основных тезисов автора состоит в том, что уровень развития земледелия в греческих провинциях империи не превосходил значительно тот опыт, каким обладали славяне к моменту их расселения в Византии. Именно поэтому стал возможен симбиоз новых поселенцев и местных жителей. Доказательства симбиоза дают языковые заимствования в современном греческом языке, распространенные лишь в тех областях, где имелись славянские поселения (с. 24—25). Славянская топонимия на Пелопоннесе, проанализированная автором монографии, также является важным источником для изучения хозяйственного типа славян в период переселения. Так, ряд топонимов (Τοπβρίστα, Ζυγοβίσι, Αγορελίτσα и др.) свидетельствует о распространении у них под-

сечного способа возделывания земли (с. 28—29).

Основные выводы главы — о земледельческом характере хозяйства у славян и причинах их переселения на Балканы, которые связаны с поисками новых земель для хозяйственной деятельности, — не являются новыми в историографии. Однако следует отметить важность обращения к этой теме греческого ученого, который обладает большими возможностями для пополнения наших знаний локальными данными археологии и лингвистики.

Во второй главе, «Политическая структура» (с. 33—51), автор исходит из двух посылок, которые, на его взгляд, вытекают из письменных источников: отсутствие у славян института центральной власти накануне переселения на Балканы и наличие представительного органа — веча. Подтверждение этому он ищет в языковых данных путем сравнительного анализа диахронного развития славянских языков (с. 39—40).

Изучая политическую организацию славян, поселившихся в Греции, следует иметь в виду, по мнению Малингудиса, два важных момента. Во-первых, источники ничего не говорят об изменении политической структуры славянского общества в течение первого века его существования в греческих провинциях империи. К тому же их почти и не сохранилось. Самым значительным является, пожалуй, «Чудеса святого Димитрия». Их данные уже анализировались с точки зрения проблемы политической организации славян, но выводы исследователей неоднозначны. Хотя следует согласиться с Малингудисом, что стадия племенной раздробленности славянами еще не была преодолена (с. 44), по нашему мнению, можно говорить о стремлении славянских племен к объединению в новых условиях. Создание временных союзов позволяло им успешно сопротивляться империи. Некорректным в этой связи нам кажется выпад автора против некоторых ученых (сноска 29 на с. 114—115), которые, по его мнению, преувеличивают стремление славян в Византии к самостоятельности и созданию своего государства. Конечно, при скудости сохранявшихся источников неизбежно возникают недостаточные обоснованные гипотезы. Однако можно упрекнуть и Малингудиса в излишней категоричности оценок и целенаправленном подборе материала в пользу своей точки зрения. Так, например, им оставлен в

стороне эпизод со славянским князем Первудом, содержащийся в «Чудесах святого Димитрия», анализ которого показывает, что в славянской среде Южной Македонии появились новые тенденции политического развития, в частности, видимо, формировалась единоличная власть князя. Во всяком случае, ситуация здесь в 70-х годах VII в. сильно отличалась от того времени, когда славяне осаждали Фессалонику под руководством аварского хагана в начале века.

Второй важный момент заключается в том, что славяне поселились в стране с высоко организованной политической властью. Оказавшись в новых условиях, они сразу же подчинились василевсу ромеев; все их восстания не имели целей сохранения автономии, а носили чисто экономический характер (с. 46). Эти утверждения автора, несомненно, нуждаются в серьезной аргументации. Многие исследователи признают, что подчинение славян византийской власти в первые два столетия в ряде областей империи носило лишь формальный характер. Кроме того, когда говорят о борьбе славян за автономию, обычно имеют в виду стремление не к созданию своего государства, а лишь к сохранению самостоятельности в решении внутренних вопросов в рамках имперской административной системы. Славяне в Византии никогда не составляли какого-то единства, жизнь каждого племени неотделима от истории тех византийских областей, где они поселились и были постепенно интегрированы в их экономическую и политическую структуры. Но сохранение особого статуса колонии этнического населения в империи было делом обычным. Сам автор пишет о сохранении политической автономии славян внутри империи как о второй стадии их политического развития (с. 49). Поэтому борьба славян за сохранение такой автономии, выражаемая и в форме восстаний, представляется вполне реальной. Кроме того, можно полагать, что движения славян в тех областях империи, где они составляли большие компактные массы населения и находились вблизи государственных границ родственных им народов, носили и этнический характер.

В конце главы автор касается «историографического аспекта» изучения проблемы, однако при этом ограничивается декларативными заявлениями, направленными против употребления термина «самосознание» применительно к славянским народам в эпоху раннего средневековья

(с. 51). Трудно согласиться с такой постановкой вопроса, так как эта сложная тема в настоящее время серьезно исследуется в советской и европейской историографиях.

Третья глава, «Этническое происхождение» (с. 53—75), носит остро дискуссионный характер. Резкой критике здесь подвергаются работы болгарских ученых, в которых славяне, поселившиеся в Греции в конце VI—VII в., причисляются к племенам так называемой болгарской группы. Ошибочным признается также тезис болгарской историографии о сохранении византийскими славянами чувства этнической солидарности с Болгарским государством вплоть до 1018 г. Особое место в аргументации греческого ученого занимают данные этнонимии, топонимии и языковых заимствований. В сжатом виде даются выводы, полученные при их изучении в предыдущих трудах Малингудиса.

Большой интерес, по нашему мнению, представляет последняя глава монографии — «Факторы эллинизации» (с. 77—99). Конечный результат исторического развития славянского этноса в Греции известен — к середине XV в. он был практически ассимилирован. Однако этот процесс до сих пор рассматривался лишь в самых общих чертах. Малингудис поставил своей задачей выделить факторы эллинизации более детально, вновь обратившись к хорошо известным источникам и проследив процесс в диахронном плане. Автору удалось наглядно показать пути ассимиляции славян в Византии, выявив те факторы, на которых до сих пор не акцентировалось внимание в литературе. Он рассматривает две характерные, по его мнению, «модели», на основании которых можно сделать обобщающие выводы. В первой «модели» автор берет за основу византийскую фамилию «Рендакий» (Ῥενδάκις, Ῥεντάκιος, Ῥενδάχιος и пр.), образованную от славянского антропонима, и прослеживает судьбы по крайней мере одиннадцати человек, ее носивших. Каждый из

этих людей играл заметную роль в жизни империи на протяжении VIII—XV вв.

Вторую «модель» можно видеть, по мнению автора, в болгаргах на Халкидике в X в. При этом анализируется хорошо известный хрисовул Романа II 959/960 г., которым император предоставил 40 париков Афонскому монастырю в качестве возмещения за земли, захваченные «славяно-болгарами». Автор пытается обосновать точку зрения, согласно которой под «славяно-болгарами» в данном случае следует понимать только византийских славян, силой овладевших новыми землями. Однако этот вопрос невозможно решать столь категорично, ибо переселение из Болгарии шло и при Симеоне и позже. Достаточно вспомнить массовую эмиграцию в Эпир в результате восстания 930 г., причем переселенцы не были изгнаны из этого района. Однако если рассматривать случай на Халкидике как пример славяно-византийских отношений внутри империи вообще, то выводы, полученные автором, заслуживают внимания.

Рассмотренный Малингудисом материал двух «моделей» позволил ему выделить следующие факторы эллинизации славян: тождественность экономического положения славян и местного населения; включение в византийскую иерархическую систему; проникновение в высшие общественные слои; культурная ассимиляция.

В кратком заключении (с. 101—103) автор подчеркивает, что трудности изучения темы «Славяне в Греции» скорее историографического, чем исторического характера. Можно согласиться с тем, что подчас имеются ненаучные факторы в рассмотрении этой сложной проблемы. Перспективы ее дальнейшего исследования, по справедливому замечанию греческого ученого, лежат в выявлении динамики симбиоза двух этнических элементов на уровне «мира сельских хижин».

Иванова О. В.

Т. IVANTYŠYNOVA. Česi a Slováci v ideológii ruských slavianofilov. Bratislava, 1987, 280 s.

Т. ИВАНТЫШИНОВА. Чехи и Словаки в идеологии русских славянофилов

Славянофильство как русское общественно-политическое течение 50—70-х годов прошлого столетия привлекало и продолжает привлекать внимание советских и зарубежных историков. В совет-

ской историографии спор о его сущности начался еще в 20-е годы. Вплоть до 60-х годов большая часть советских историков-марксистов считала славянофилов представителями крепостнического дво-

рванства, людьми, выступавшими против капиталистического развития России, тянувшими ее в средневековье.

Однако более глубокие конкретные исследования славянофильского учения привели большинство советских ученых к убеждению, что прав был В. И. Ленин, который характеризовал славянофильство как один из вариантов русского либерализма. Много сделали для доказательства этой точки зрения С. С. Дмитриев, С. А. Никитин, Е. А. Дудзинская, Н. И. Цимбаев, В. И. Порох, В. А. Китаев и другие. Т. Ивантышинова в своей книге еще раз доказала справедливость взглядов названных ученых, проанализировав документы, связанные с отношением славянофилов к главным вопросам внутренней жизни России — крестьянскому, введению буржуазных свобод (прежде всего свободы печати).

Однако изучение сущности славянофильства и его отношения к внутренним проблемам России, хотя и имеет важное значение в рассматриваемой работе, но не является целью исследования автора. Главной темой рецензируемой книги стал славянский вопрос и его место и значение в идеологических построениях русских славянофилов, а более конкретно, роль чехов и словаков, их идеологии, русско-чешских и русско-словацких контактов в формировании славянской концепции славянофилов как одного из течений русского либерализма 40—60-х годов XIX в. Следует отметить некоторую односторонность постановки данной проблемы. Для более полного раскрытия темы желательнее было бы рассмотреть отклик на деятельность славянофилов в чешском и словацком национальном движении, а также роль воззрений славянофилов в формировании национальной идеологии чехов и словаков.

Монографическое исследование Т. Ивантышиновой, состоящее из четырех хронологически расположенных глав, введения и заключения, базируется на большом количестве документальных источников из советских и чехословацких архивов, славянофильской публицистике, прессе, мемуарах, переписке и тщательном изучении литературы о славянофилах.

Во введении представлен обзор исторических исследований по проблемам славянофильства и определены цели и задачи монографии. В первой главе, ограниченной периодом до Крымской войны 1853—1856 гг., изложена сущность основных принципов славянофильства и

характеризуются главные его представители (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. Аксаков и др.). Особое внимание обращено на контакты славянофилов с ведущими деятелями чешского и словацкого возрождения, подчеркнут большой интерес славянофилов к трудам П. И. Шафарика, Ф. Палацкого, Я. Коллара. Автор полагает, что уже в этот период можно говорить о непосредственном воздействии деятелей чешского и словацкого возрождения на генезис славянской концепции славянофилов и на их отношение к славянству в целом (с. 54—55). Однако, как не без основания считает Ивантышинова, вплоть до Крымской войны славянский вопрос не занимал сколько-нибудь значительного места в идеологии славянофилов. Только в трудах А. С. Хомякова — лидера славянофилов того времени можно проследить интерес к славянам и желание помочь им. Крымская война и поражение в ней России, по мнению Ивантышиновой, дали толчок к резкому повышению интереса русской общественности к славянам. Этот вывод трудно оспорить, хотя, на наш взгляд, его следовало бы уточнить. Повышение интереса к славянам в русском обществе началось еще с революции 1848—1849 гг. В частности, именно в конце 40-х годов в Петербурге появилось первое общество, оказывавшее помощь югославянским народам. Во время Крымской войны идея освобождения славян была достаточно популярна у славянофилов и близких к ним кругов. Об этом свидетельствует и записка К. Аксакова «О восточном вопросе», обнаруженная С. А. Никитиным, но введенная в научный оборот Ивантышиновой, которая подробно излагает ее в своей книге. Точка зрения Ивантышиновой о том, что взгляды К. Аксакова, изложенные им в записке, не являлись панславистскими в позднейшем понимании этого термина, представляется нам более правильной, чем обвинение Аксакова в панславизме, выдвинутое Никитиным.

Конечно, крах режима Николая I сильно повлиял на активизацию обсуждения славянского вопроса, в том числе и в печати, однако начало все же было положено в 1848 г. И это понятно, ибо во время революции национальные движения славянских народов Австрии получили четко выраженную политическую направленность, что не могло не повысить интереса к ним русской общественности.

Не подлежат сомнению выводы автора

о влиянии на славянофилов идеологии чешских и словацких национальных деятелей (особенно Я. Коллара) именно в этот первый период их деятельности. Однако эта проблема все же не получила в работе Ивантышиновой достаточного освещения.

Развитие славянофильской концепции в отношении славянства после Крымской войны и до отмены крепостничества в 1861 г. является содержанием второй главы. Именно в это время, подчеркивает автор, славянофильство оформилось как целостная идейно-политическая система (с. 75). Усиливается интерес славянофильской печати («Русская беседа») к славянству, в том числе чехам и словакам, возрастает число поездок славянофилов (А. И. Кошелев, А. Ф. Гильфердинг, братья Аксаковы и др.) в Габсбургскую монархию, устанавливаются их личные контакты с чешскими и словацкими политическими и культурными деятелями (В. Ганкой, П. И. Шафариком, К. Я. Ербенем, И. М. Гурбаном, К. Кузман). Автор отмечает важную роль в установлении этих контактов священника русского посольства в Вене М. Ф. Раевского.

В этой главе подробно изложены и сопоставлены славянские концепции К. Гавличека-Боровского и Л. Штура, которые попытались сформулировать национальные стремления чехов и словаков в после-революционный период. Автор polemизирует с мнением некоторых чехословацких историков о том, что во взглядах Л. Штура прослеживается влияние русских славянофилов, и в доказательство сопоставляет трактат Штура «Славянство и мир будущего» с идеологией славянофилов. Однако, несмотря на то, что об этом трактате в рецензируемой книге говорится довольно много, все же его воздействие на второе поколение русских славянофилов (Ламанского, Гильфердинга и др.), на формирование основ русского панславизма освещено недостаточно полно. Излагая взгляды второго поколения славянофилов, Ивантышинова в ряде случаев показывает их отличие от взглядов И. Аксакова, Ю. Самарина, представлявших первое поколение, но этот вопрос требует более детального исследования.

В третьей главе рассматривается оформление славянской концепции славянофилов в 60-е годы XIX в. Автор показывает, как все большее значение в идеологии славянофильства начинают приобретать идеи мессианства России по

отношению к поработанным славянским народам. Эти идеи отражали реальные идейные и политические факторы развивающихся национально-освободительных движений славян. Подчеркивается, что именно в это время необычайно возрастает значение славянофильской печати (особенно газеты «День», издаваемой И. С. Аксаковым) в распространении в русском обществе информации о жизни зарубежных славян с помощью корреспондентов из славянских стран. Отмечается более глубокое понимание славянофилами политической и национальной борьбы чехов и словаков. Славянофилы видели глубокие различия во взглядах между ними и ведущими политическими деятелями чешских земель на возможность внутренней реформы Австрии в пользу славянских народов. Славянофильские идеи встречали больший отклик у словацкой возрожденческой интеллигенции, в то время как чехи считали, что только преобразованная на либеральных началах Россия сможет оказать поддержку их устремлениям к федерализации Австрии. Несмотря на эти идейные различия, у обеих сторон укреплялось убеждение в необходимости дальнейшего развития славянской взаимности, прежде всего в сфере культуры.

Автор считает, что славянский вопрос стал в 60-е годы реальной политической проблемой (с. 162), о чем свидетельствует определение славянофилами своей позиции в отношении славянских народов Габсбургской монархии и полное отрицание ими идеологии австрославизма.

Идейная конфронтация между чехами и славянофилами, подчеркивает Ивантышинова, обострилась в связи с польским восстанием 1863 г., когда славянофилы поддержали репрессивную политику царя. Автор отводит этому сюжету много места, хотя и освещает тему достаточно традиционно. Совершенно верно она показывает отношение славянофилов к идее «полонизма». Следовало бы только подчеркнуть, что «полонизм», по представлению славянофилов, был характерен для господствующих классов. Польское же крестьянство они считали славянским по своему духу и характеру.

Четвертая глава книги посвящена славянскому съезду в Москве в 1867 г., в котором приняла участие представительная делегация чехов и всего несколько словаков. Автор считает этот съезд определенным рубежом в развитии идей славянской взаимности и за

вершением наиболее активного периода славянофильства как целостного идейно-политического течения.

В целом книга Т. Ивантышиновой, раскрывающая место и значение чешской и словацкой проблематики в идеологии

русских славянофилов, представляет несомненный вклад в исследование проблем славянофильства и развития русско-чешских и русско-словацких связей.

Гогина К. П., Чуркина И. В.

Vznik českého profesionálního divadla. Praha, 1988, 128 s., ill..

Возникновение чешского профессионального театра

В 1785 г. на сцене «Национального театра», построенного в Старом городе Праги по инициативе и на средства графа Фр. Ностиц-Ринка так, что оно «могло выдержать сравнение с любым из современных театров Центральной Европы» [1], была осуществлена постановка четырех пьес немецких драматургов: «Сын-дезертир» Г. Штефани-младшего, «Нищий студент», и «Штепан Федингер» П. Вайдмана, «Благодарный сын» И. Я. Энгеля. Спектакли шли на чешском языке с участием чешских актеров. 20 января 1785 г., день премьеры первого из этих спектаклей, принято считать датой зарождения чешского театрального профессионализма¹.

Двухсотлетней годовщине этого знаменательного события в истории чешской культуры была посвящена научная конференция, состоявшаяся в январе 1985 г., материалы которой и составили рецензируемый сборник, вышедший в издательстве Карлова университета.

Авторы сборника — крупнейшие историки, литературоведы, искусствоведы, лингвисты — освещают многосторонние аспекты этой проблемы. Последовательно рассматриваются: программа деятелей чешского национального возрождения в области культуры (М. Грох), общественно-культурная жизнь Праги в 80-е годы XVIII в. (И. Петрань), начальный этап развития чешского профессионального театра (Фр. Черны), исполнительское мастерство чешских актеров того времени (Я. Гивнар), анализируется язык первых оригинальных и переводных пьес (Фр. Цуржин), театр и пресса на

начальном этапе национального возрождения (К. Бездек) и другие, более частные вопросы (взаимоотношения деятелей чешского театра с властями, театральная жизнь чешской провинции).

В содержательной и во многом новаторской статье М. Гроха, который с начала 60-х годов занимается изучением вопросов теории нации, в частности, закономерностей и особенностей развития чешской нации в конце XVIII — первой половине XIX в. [2], рождение профессионального театра тесно увязывается с общественно-экономическими и идеологическими процессами: развитием городов, новых форм культурной жизни, формированием национальной интеллигенции, определявшей программу развития национальной чешской художественной культуры.

Стержнем сборника представляется статья театроведа проф. Ф. Черного — ответственного редактора фундаментальной «Истории чешского театра» [3], автора ряда монографий, касающихся многих аспектов чешской театральной культуры XVIII—XX вв. Исследователь рассматривает становление профессионального театра на широком фоне общеевропейской художественной культуры этого времени, обращая особое внимание на наиболее важные вопросы развития чешского театра: его роль в формировании национального самосознания, взаимоотношения с общественностью, борьбу за формирование национального репертуара и др. Работа основана на обстоятельном изучении многочисленных источников, памятников культуры, специальной литературы и дает полное представление об основных направлениях, этапах и содержании этого процесса.

Сложной и малоизученной проблеме исполнительского мастерства чешских актеров конца XVIII в. посвящена статья Я. Гивнара, исследующего и вопросы

¹ Хотя впервые чешский язык прозвучал со сцены публичного театра в 1771 г. — пьеса И. К. Крюгера «Князь Гонзик» в переводе Я. Зеберера шла в пражских «Котцах»; постановка эта не увенчалась успехом, и в течение долгого времени попытки подобного рода не возобновлялись.

национального репертуара чешских и чешско-немецких сцен этого времени, довольно немногочисленные источники, которые проливают свет на театральную жизнь рубежа XVIII—XIX вв. (трактат М. Майобера «Мои мысли по поводу чешской театральной эпохи», 1784; брошюру Пр. Шедивого «Краткое рассуждение о пользе, которую может принести постоянный и хорошо организованный театр», 1793).

Интересная статья А. Шерла посвящена творческим и жизненным судьбам организаторов и первых деятелей чешского театра. Сами по себе эти судьбы могут служить яркой характеристикой той среды, которой чешский профессиональный театр обязан своим рождением и первыми славными страницами своей истории. Не ограничиваясь анализом творческой деятельности В. Тама (1785—1816), основателя чешско-немецкого театра «Бода» (1786—1789), драматурга, актера, режиссера, поэта, журналиста, критика, переводчика, А. Шерл рассказывает о нелегкой судьбе зачинателей чешского профессионального театра. «Лучшие из них,— пишет автор,— оразили в своих, нередко трагичных, жизненных судьбах характер эпохи, момент исторического перелома, когда реакция жестоко расправлялась с каждой прогрессивной мыслью и когда ее удары сыпались на каждого, кто не желал отказываться от своих просветительских идеалов» (с. 81).

Особую группу статей объединяет проблематика становления чешского сценического языка как составной части национального литературного языка, рассматриваемой в контексте общественной и культурной жизни Чешских земель

(статьи Фр. Цуржина, Я. Коллара, Й. Петраня, Вл. Прохазки).

Актуальность поднятых чехо-словацкими исследователями вопросов, затронутых в связи с поставленной темой, их многообразие, оригинальность подхода к проблеме становления отечественной театральной культуры на рубеже XVIII—XIX вв. в целом дают новый взгляд на историю культуры в эпоху чешского национального возрождения, представляющую значительную и яркую главу в истории чешского народа, его социально-экономического, политического и культурного развития.

Прекрасно оформленная и иллюстрированная книга, рассказывающая о первых шагах чешского профессионального театра, истории его развития и роли в формировании национальной культуры, прослеживающая взаимоотношения театра с литературой и искусством, дающая интересные, нередко малоизвестные сведения о его актерах и спектаклях, несомненно вызовет интерес читателей, интересующихся историей культуры славянских народов.

Тимова Л.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dějiny Národního divadla, sv. 2. Praha, 1934, s. 21.
2. Hroch M. K problematice formování buržoazního národa v Evropě—Československý časopis historický, 1961, № 3, s. 374—395; Hroch M. Místo českého obrození v procesu formování novodobých evropských národů.— In: Studie z obecných dějin, 1972, s. 47—62; Hroch M. Buržoazní revoluce v Evropě. Praha, 1981.
3. Dějiny českého divadla, sv. 1—4. Praha, 1968—1983.

І. Р. ВИХОВАНЕЦЬ. Частици мови в семантико-граматичному аспекті. Київ, 1988, 256 с.

И. Р. ВИХОВАНЕЦЬ. Части речи в семантико-граматическом аспекте

Сегодня все более актуальным становится исследование грамматических вопросов с учетом функциональной специфики определенных форм, при этом логический акцент смещается в сторону анализа их семантической значимости и установления имплицитной/эксплицитной маркированности формальных показателей грамматической категории (ГК). Рецензируемая книга посвящена рас-

смотрению соотношения семантического и грамматического содержания, анализу места и значимости каждого из них в частеречной детерминации слов. Книга состоит из трех разделов, охватывающих теоретические проблемы определения частеречной иерархии, коррелятивность имени существительного и глагола, имени прилагательного и наречия на различных языковых уровнях.

Последовательный анализ системы частей речи невозможен без определения исходной позиции исследования, выявления ступеней частеречных трансформаций («Общие вопросы теории частей речи»). Автор убедительно аргументирует важность гетерогенной классификации частей речи, у истоков которой стояли известные лингвисты (Л. В. Шерба, В. В. Виноградов, В. Н. Жирмунский, В. Г. Адмони, В. И. Кодухов и др.). Дифференцированный учет семантического, синтаксического, морфологического, логического и словообразовательного критериев позволяет определить четыре части речи — имя существительное, глагол, имя прилагательное и наречие, которые составляют корреляцию центра (имя существительное и глагол) и периферии (имя прилагательное и наречие) в частеречной иерархии. Такая иерархия несомненно имеет своим источником прежде всего синтаксический критерий, основой которого является значимость единицы в организации предложения. Но при учете только синтаксических позиций невозможно разграничение целого ряда форм. Поэтому квалификация частеречных единиц является убедительной при комплексном учете морфологических, семантических, словообразовательных, логических показателей.

Обычно в обобщающих работах по теоретической грамматике центральное место занимала типология корреляций частеречных элементов, обсуждение инвентаря их дифференциальных признаков. В рецензируемой книге такую роль играет оппозиция «центр/периферия», которая рассматривается во втором и третьем разделах. Второй раздел — «Семантико-грамматический центр частей речи» — посвящен тщательному анализу ГК имени и глагола, автором устанавливаются этапы-ступени частеречных переходов. Определение различных уровней предложения позволило И. Р. Выхованцу последовательно разграничить собственно синтаксическую, семантико-синтаксическую и собственно семантическую значимость глагольных и субстантивных элементов в структуре синтаксических единиц: «Семантическая структура элементарного предложения отличается от формально-синтаксической структуры того же предложения тем, что все аргументы, включая даже аргумент в формально-синтаксической позиции подлежащего зависят от предиката-сказуемого» (с. 84). Комплексный подход к анализу частей речи позволяет дифферен-

цировать иконическое и интерпретационное свойства человеческого языка и проследить соотношение актуального и виртуального содержаний в структуре предложения, установить характер диктумных и модусных компонентов в их строе, выявить коррелятивность членов предложения и частей речи, определить принципы соотносительности семантического и собственно синтаксического содержания в предложении.

Особо следует остановиться на интерпретации инфинитива, который до сих пор остается краеугольным камнем в спорах о глагольных формах (ср. взгляды А. А. Потебни, Д. Н. Овсяннико-Куликовского, А. В. Бондарко, Л. Л. Буланина и др.). И. Р. Выхованец значительно развил понимание инфинитива Ш. Балли, Л. Теньером, Э. Бенвенистом, утверждая, что «с точки зрения синтаксической деривации инфинитив является субстантивно-глагольным переходным образованием, специфику которого составляет особый способ закрепленности за субстантивной и глагольной областями» (с. 82).

Доминирующим в исследовании является определение первичных и вторичных форм каждой части речи, анализ их функций, установление их значимости в синхронии языка, выявление коррелятивности специализированных / неспециализированных форм. Специализированные (морфологизированные) члены предложения соотносительны с первичными функциями слов определенной части речи, что позволяет установить элементы синтаксической, морфологической и семантической трансформации. Автор последовательно проводит мысль о значимости ситуативных факторов, определяющих в конечном итоге перспективы синтаксических трансформаций (ср.: укр. *Його «зачекайте» нас не задовольняє* и рус. *Его «подождите» нас не удовлетворяет*), морфологической адаптации, напр.: укр. *Він читав роман // Читання роману тривало декілька днів*; рус. *Он читал роман // Чтение романа продолжалось несколько дней*. Особое внимание уделяется семантической трансформации как конечному этапу перехода частей речи, показателем чего несомненно является инвентарь частеречных граммем.

Разностороннее сопоставление грамматических единиц позволяет автору правильно сделать выводы о характере ГК, их месте в иерархии. Аргументация вершинной и доминирующей позиции граммем падежа в структуре именных ГК своим источником имеет последователь-

ный учет онтологических и гносеологических факторов, обеспечивающих целостность языка как системы. Связи падежей в парадигме — это взаимоотношения элементов единой системы, и объем каждого отдельного падежа зависит от специфики той падежной системы, в которой он функционирует (с. 56).

Системность языка «... состоит не в простой внешней организации языковых материалов, а в том, что все однородные элементы структуры языка взаимосвязаны и получают свою значимость лишь как противоположенные части целого» [1]. Закономерности функционирования периферийных компонентов частеречной классификации исследуются в третьем разделе «Грамматическая периферия частей речи». Исходя из структуры элементарного предложения, автор определяет уровни периферийности имени прилагательного и наречия. Анализ специфики периферийных явлений в грамматической системе языка позволяет обнаружить тенденции анализма, установить синтаксические позиции аналитических компонентов в предложении, выявить их иерархическую рамку: «Аналитические наречия обычно выступают в формально-синтаксической позиции детерминантного второстепенного члена предложения. Они выражают три типа семантико-синтаксических отношений: пространственные, темпоральные и логические. В аналитических наречиях нейтрализуется определяющая для имени

существительного категория падежа» (с. 206). Синтаксические условия являются диагностирующим показателем транспозиций.

Оппозиция «центр / периферия» выступила доминирующим фактором определения инвентаря аналитических синтаксических морфем, установления путей развития анализма, коррелирующих с основополагающими закономерностями морфологического состояния языка: «В связи со специфическим морфологическим строением и синтаксической неавтономностью к словам, а значит, к частям речи, не принадлежат так называемые служебные слова — предлоги, союзы, частицы и связки, которые — в условиях развития анализма в грамматической структуре украинского языка — являются аналитическими синтаксическими морфемами» (с. 226).

Рецензируемая книга представляет собой важный вклад в теоретическое языкознание, поскольку в лингвистический оборот введен ценный аспект грамматических обобщений и наблюдений. Подобный тип исследования необходим для успешного развития типологического языкознания, создания фундаментальных работ по теории функциональной грамматики.

Загитко А. А.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Реформатский А. А. Введение в языкознание. М., 1960, с. 249.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Pradzieje ziem polskich / Pod red.: Kmiecickiego J. Warszawa, Łódź, 1989.
Sedm pražských dnů, 24—27. srpen 1968: Dokumentace / Macek J. a kol. Praha, 1990, 408 s., 16 l. il.
Simeonova R. Die Segmentssysteme des deutschen und des Bulgarischen: Eine kontrastive phonetisch-Phonologische Studie. München, 1989, 220 S., III.
Słownik staropolski / Kom. red. Urbańczyk S. red. naczk, et al. Wrocław etc., 1990, t. 10, z. 3 (63). Wieli — wjechać. 161—240 s.
Spólnik A. Nazwy polskich roślin do XVIII wieku. Wrocław etc., 1990, 136 s.
Stępień M. Dalekie drogi literatury polskiej. Kraków, 1989, 526 s.
Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa, 1990.
Tyburski W. Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Toruń, 1989, 245 s.
Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia / A cura di Kovács Zs., Sárközy P. Bratislava, 1990, 451.
Wilski Z. Aktor w społeczeństwie: Szkice o kondycji aktora w Polsce. Wrocław etc. 1990, 128 s.
Wójcik Z. Wojny kozackie w dawnej Polsce. Kraków, 1989, 80 s., il.



КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ Я. КОРЧАКУ

16—17 октября 1989 г. в г. Рамат-Ган (Израиль) состоялась Международная конференция, посвященная польскому писателю и педагогу Янушу Корчаку, который вместе со своими воспитанниками погиб в фашистском лагере массового уничтожения в Трешлинке в годы второй мировой войны. Конференция была организована Израильской ассоциацией Я. Корчака и киббуцем «Дом борцов гетто» совместно с Международной корчаковской ассоциацией. Последняя (с центром в Варшаве) учреждена в 1979 г. в связи со столетием Корчака и объединяет многие национальные ассоциации, цель которых — пропаганда его наследия в области воспитания, педагогики, детской психологии, литературы. Следует отметить, что несмотря на широкую популярность Корчака в нашей стране, в СССР такого объединения пока нет.

Израильская ассоциация Я. Корчака — одна из самых активных. Конференция проводится в Израиле уже в четвертый раз. В 1989 г. ее темой было художественное творчество писателя, а также отражение личности Корчака в литературе и искусстве.

В конференции приняли участие более ста делегатов из 11 стран: Польши, США, Франции, Голландии, ГДР, ФРГ, Швеции, Швейцарии и др. Было заслушано 50 докладов и сообщений. Советская делегация в составе М. Кузьмина («Корчак в СССР»), О. Медведевой («Корчак и Гомбрович — две легенды польской литературы»), а также Г. Цудик — автора цикла песен о Корчаке участвовала в Израильской конференции впервые.

Наиболее представительной была делегация Польши. В нее входили известные литературоведы Х. Кирхнер, И. Мачеевская, Л. Бартельский, крупнейший знаток педагогического опыта Корчака, руководитель Корчаковской лаборатории в Варшаве А. Левин и др.

Х. Кирхнер выступила с докладом «Мастерство Корчака-писателя», в кото-

ром показала место Корчака в контексте польской литературы конца XIX—XX в., своеобразие его творчества, сформировавшегося на стыке реализма, натурализма, модернизма, необычность ракурса (изображение главных общественных и философских идей эпохи сквозь призму проблем ребенка), жанровое и стилевое новаторство (радиорассказ, оригинальное использование детского языка).

И. Мачеевская в докладе «Ранние произведения Корчака» проанализировала их на фоне литературы «Молодой Польши» и поставила характерного для них одинакового в социальном и экзистенциальном смысле героя в связь с польской прозой межвоенного двадцатилетия.

Целый блок докладов был посвящен литературной легенде Корчака — в них жизнь и творчество писателя рассматривались в единстве, как некий сверхтекст. Затрагивались такие аспекты, как значение биографического элемента в произведениях писателя (доклад Ю. Барницкой «„Исповедь мотылька“. Автобиография или вымысел?»); автобиографические произведения как источник понимания деятельности Корчака (доклад ученого из ФРГ Ф. Байнера «„Дитя гостиницы“». По поводу первого немецкого издания); мировоззрение Корчака в его соотношении с творчеством (доклад израильского литературоведа А. Кохена «Возрождение Бога в драме „Сенат безумцев“»). Как бы в обратной перспективе — в разрезе влияния литературы, в частности романтической и позитивистской на формирование жизненной позиции — предстала легенда Корчака в докладе Л. Бартельского «Литература как образ жизни». Своего рода конкретизацией тезиса Бартельского был доклад Б. Войновской «О ранней публицистике Корчака», в котором приводились свидетельства участия молодого писателя в просветительских позитивистских акциях.

Художественной структуры произведений Корчака касались доклады израиль-

ских ученых. М. Регев в докладе «Корчаковское искусство повествования» остановился на различных приемах взаимодействия рассказчика с юным читателем, на свойственном его произведениям эффекте неожиданности, непредсказуемости в развертывании сюжета. Г. Бергсон в докладе «Начала и концы в произведениях Корчака для детей» описал их в сопоставлении со структурой сказки и мифа.

Ряд докладов был посвящен новым материалам биографии Корчака, а также воплощению образа Корчака в искусстве. В рамках конференции состоялись пред-

ставления новых книг об авторе «Короля Матеуша I», выставка иллюстраций к его произведениям, исполнение музыкальных сочинений, вдохновленных его жизнью и творчеством, демонстрация документальной киноленты о Корчаке.

Программой конференции было предусмотрено посещение мест, связанных с писателем: киббуцев (находясь в 1934 и 1936 гг. в Палестине, Корчак побывал во многих из них), школ, носящих его имя. В заключение участники конференции совершили путешествие по библейским местам.

Медведеса О.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПОЭТИКА ПАРАЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ»

Под таким названием 6—9 мая 1990 г. в Тарнобжеге (ПР) проходила международная научная конференция, организованная Отделом теории литературы Института польской филологии при Люблинском университете им. М. Складовской-Кюри совместно с его Ректорской комиссией по вопросам распространения науки и культуры, Бюро Общества им. Г. Сенкевича и воеводской публичной библиотекой Тарнобжега. Это была очередная конференция, проводимая в рамках уже несколько лет существующего цикла научных встреч, объединенных серийным тематическим названием «Шедевры польской литературы». На конференции было заслушано более 20 докладов, представленных учеными из различных научных центров Польши, а также полонистами из Лейпцига и Москвы.

Разнообразие жанров паралитературы, включающее письмо, дневник, мемуары, эссе, фельетон, репортаж, либретто, комикс, речь, афоризм и другие разновидности этой обширной системы, определило широкий тематический и проблемный диапазон представленных докладов.

Открывая конференцию, бессменный и неутомимый организатор всех научных встреч этого цикла, проф., д-р филол. наук Л. Лядоровский (Люблин) отметил необходимость и плодотворность изучения специфики паралитературных жанров в теоретическом и практическом аспектах.

Как показали заслушанные на конференции доклады, значительное внимание уделяют историки и теоретики литературы взаимосвязям и взаимовлияниям литературных жанров с эпистолярным (док-

лады канд. филол. наук Т. Свентославской (Лодзь) «О письмах Г. Сенкевича из итальянских путешествий»; проф., д-ра филол. наук Б. Барницкой (Варшава) «Письма к Ежи М. Кунцевичу», с дневниковым (доклады проф., д-ра филол. наук Б. Космановой (Познань) «Из истории дневниковых форм в старой Польше»; проф., д-ра филол. наук В. Куписевского (Варшава) «Дневники глазами лингвиста (на примере „Дневников“ С. Жеромского»). В докладе канд. филол. наук М. Марциан (Лодзь) «Проблематика композиции дневника» проводилось различение между подлинным и фиктивным дневником и были рассмотрены случаи стилизации, современные смешанные формы (типа *silvia*), чья функция отлична от модернистских стилизаций. Затронутая здесь проблема смешения, соединения, чередования разного рода жанров вообще часто возникала на конференции — например, Я. Пацлавский (Кельце) в докладе «Жанровый синкретизм в прозе Ю. Стрыйковского» исследовал богатый «объем культурной информации», содержащийся в жанровом облике романов писателя, отмеченных сочетанием поэтики репортажа, эссе, медитативной прозы.

Против понимания смешения жанров исключительно как деструкции выступила магистр А. Хомюк (Люблин), изучив на примере творчества Х. Малевской соединение письма и эссе как проявление специфической писательской стратегии, ориентированной на принцип разнообразия (*varietas*). Доклад д-ра филол. наук В. А. Хорева (Москва) был посвящен взаимодействию «прозы фикции» и «прозы

факта», причем последняя рассматривалась не в качестве «сырья для художественной литературы», но как литературный вид, обладающий собственными законами, служащий катализатором изменений в сфере художественного творчества и — в свою очередь — также сопродный фикции, как всякая попытка описания духовного «я».

Интерес исследователей концентрируется и на явлениях «ассимиляции» литературы жанрами других видов искусства. Так, в обстоятельном докладе проф. Л. Людоревского «Замечания о поэтике комической оперы и оперного либретто», содержащем теоретическую и конкретную (анализ неизвестного либретто А. Фредро) части, была представлена систематика жанров, сочетающих словесные и музыкальные компоненты, рассмотрена структура либретто оперы и оперетты. Произведенный Л. Людоревским анализ тем более примечателен, что общая теория либретто еще не создана.

В этой же связи интерес представлял и доклад канд. филол. наук Г. Косенки (Краков) «„Quo vadis?“ — оратория и опера. О восприятии первых переработок романа Г. Сенкевича», где была прослежена рецептивная история этого произведения композитора Ф. Нововойского, начиная с первой постановки в 1909 г. и вплоть до наших дней.

К этой же группе докладов можно отнести и исследования изобразительной адаптации литературных произведений Сенкевича (канд. филол. наук Я. Шимковска-Рушала, Слупск) и Пруса (магистр А. Чарноцка, Люблин) в жанре комикса. Проблематика границы, разделяющей жанры паралитературы и литературы, а также «пограничья», где возможно их совмещение, взаимный переход и слияние, так или иначе затрагивалась в большинстве заслушанных докладов. Так, широко обсуждался, в том числе и в дискуссии, вопрос отношения жанров историографии и эссеистики, их возможного сближения (доклады проф., д-ра филол. наук М. Космана (Познань) «О польской исторической публицистике XIX в.»; магистра В. Солтыс (Люблин) «Исторические эссе Александра Кравчука»). К пограничью художественной литературы и публицистики отнес д-р филол. наук Е. Конечный (Быдгощ) речи Сенкевича, рассмотрев поэтику этих малоизученных

выступлений 1905—1915 гг.; многообразие жанров, участвующих в формировании литературного радиорепортажа отметила ред. Д. Беньшкewич (Люблин).

В центре некоторых докладов оказывались жанры с трудноуловимой спецификой, с расплывчатыми или отсутствующими дефинициями. Так, в качестве мифотворческого текста, «стремящегося быть метатекстом» рассматривала фельетон канд. филол. наук Е. Косовская (Катовице); д-р филол. наук М. Лоек (Быдгощ) исследовал афористику Г. Сенкевича в перспективе истории этого многообразного жанра, не имеющего единой дефиниции; канд. филол. наук Э. Игнатович (Варшава) анализировала природу и специфику такого известного с XVIII в. культурного феномена, как альбом, отметив, что в эпоху романтизма он выполнял функцию поэзии, перейдя — после своего расцвета в XIX в. — в область паралитературы.

Теоретические проблемы взаимоотношений между литературными и паралитературными жанрами, возможность построения типологии этих взаимоотношений рассмотрела канд. филол. наук В. В. Мочалова (Москва), обратившись к материалу польской и русской литератур, включавшему и такие современные течения, как концептуализм.

О восприятии современной польской литературы — эссеистики и репортажа — в ГДР, его обусловленности происходящими в обеих странах социо-культурными и политическими процессами говорил в своем докладе канд. филол. наук Г. Х. Трeптe (Лейпциг).

По существующей культуртрегерской традиции, которую бережно хранит и поддерживает тарнобжегская воеводская публичная библиотека, все участники конференции после ее окончания выезжали в различные города воеводства, где выступили со своими докладами перед учащейся молодежью.

В целом конференция стала плодотворным шагом в изучении сферы паралитературы, ее многообразных связей с областью собственно литературы, а вместе с тем — ее автономности, специфики ее поэтики. Материалы конференции предполагается опубликовать.

Мочалова В.

CONTENTS

DISCUSSIONS

International relations and Central and South-Eastern European countries in the beginning of the second world war (September 1939 — August 1940). Problems of cultural frontiers	3
--	---

ARTICLES

<i>Gorizontov L. E.</i> Polish history in the West and in the Soviet Union: the experience of a comparative historiographical review. <i>Venediktov G. K.</i> Eighty years anniversary of the elder of Soviet slavists	56
--	----

PORTRAITS

<i>Toporov V. N.</i> Nikolay Sergeevich Trubetskoy — scientist, thinker, person (to the 100-th anniversary of birth)	78
--	----

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<i>Ivanova O. V.</i> Φ. Μαλλυκοΰδης. Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα	100
<i>Gogina K. P.</i> , <i>Churkina I. V.</i> T. Ivantyšynová. Česi a Slováci v ideológii ruských slavianofilov. <i>Titova L.</i> Vznik českého profesionálního divadla. <i>Zagnitko A. A.</i> I. P. Вихованець. Частици мови в семантико-граматичному аспекті	102

SCIENTIFIC LIFE

<i>Medvedeva O.</i> The conference on Y. Korczak. <i>Mochalova V.</i> The conference «Poethics of the paraliterary genres».. . . .	109
--	-----

Технический редактор *Е. В. Сеницына*

Сдано в набор 10.10.90	Подписано к печати 14.12.90	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 9,8	Усл. кр.-отт. 10,7 тыс.
	Уч.-изд. л. 11,1	Бум. л. 3,5
Тираж 1054 экз.	Зак. 577	Цена 1 р. 50 к.

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский просп., д. 32а
 Телефоны 938-01-20, 938-08-09
 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

1 р. 50 к.

Индекс 70891